

## Карел Чапек Рассказы из одного кармана (сборник)

### Случай с доктором Мейзликом

— Послушайте, господин Дастих, — озабоченно сказал полицейский чиновник доктор Мейзлик старому магу и волшебнику, — я к вам, собственно, за советом. Я вот ломаю голову над одним случаем.

— Ну, выкладывайте! — сказал Дастих. — С кем там и что стряслось?

— Со мной, — вздохнул доктор Мейзлик. — И чем больше я об этом случае думаю, тем меньше понимаю, как он произошел. Просто можно с ума сойти.

— Так кто же все это натворил? — спросил Дастих успокаивающе.

— Никто! — крикнул Мейзлик. — И это самое скверное. Я сам совершил что-то такое, чего понять не в состоянии.

— Надеюсь, все это не так страшно, — успокаивал доктора Мейзлика старый Дастих. — А что же вы все-таки натворили, дружище?

— Поймал медвежатника, — мрачно ответил Мейзлик.

— И это все?

— Все.

— А медвежатник оказался ни при чем, — подсказал Дастих.

Да нет, он же сам признался, что ограбил кассу в Еврейском благотворительном обществе. Это какой-то Розановский или Розенбаум из Львова, — ворчал Мейзлик. — У него нашли и воровской инструмент, и все прочее.

Так чего же вы еще хотите? — торопил его старый Дастих.

Я бы хотел понять, — сказал полицейский чиновник задумчиво, — каким образом я его поймал. Подождите, сейчас я вам все расскажу по порядку. Месяц тому назад, третьего марта, я дежурил до полуночи. Не знаю, помните ли вы, что в первых числах марта три дня подряд лил дождь. Я заскочил на минутку в кафе и собрался было уже идти домой, на Винограды. Но вместо этого почему-то пошел в противоположную сторону, по направлению к Длажденной улице. Скажите, пожалуйста, почему я пошел именно в ту сторону?

— Возможно, просто так, случайно, — предположил Дастих.

— Послушайте, в *этакую* погоду человек не болтается по улицам просто так, от нечего делать. Я бы хотел знать, какого черта меня понесло туда? Не думаете ли вы, что это было предчувствие? Знаете, нечто вроде телепатии.

— Да, — утвердительно кивнул головой Дастих. — Вполне возможно!

— Вот видите, — заметил Мейзлик как-то озабоченно. — То-то и оно! Но это также могло быть и просто подсознательное желание взглянуть, что делается «У трех девиц».

— А-а, вы имеете в виду ночлежку на Длажденной улице, — вспомнил Дастих.

— Вот именно. Там обычно ночуют карманники и медвежатники из Будапешта или из Галиции, когда приезжают в Прагу по своим «делам». Мы за этим кабаком следим. Как повашему, может быть, я просто по привычке решил заглянуть туда?

— Вполне может быть, — рассудил Дастих, — такие вещи иногда делаются совершенно механически, в особенности если они входят в круг служебных обязанностей. Тут нет ничего удивительного.

— Так вот, пошел я по Длажденной улице, — продолжает Мейзлик, — заглянул мимоходом в список ночлежников «У трех девиц» и отправился дальше. Дойдя до конца улицы, остановился и повернул обратно. Скажите, пожалуйста, ну почему я повернул обратно?

— Привычка, — предположил Дастих, — привычка патрулировать.

— Возможно, — согласился полицейский чиновник. — Но ведь я уже кончил

дежурство и хотел идти домой. Может быть, это было предвидение?

— Такие случаи тоже известны, — признал Дастих, — но в них нет ничего загадочного. Просто это значит, что человек обладает сверхъестественным чутьем.

— Черт возьми, — закричал Мейзлик, — так это была привычка или сверхъестественное чутье? Вот это-то мне и хотелось бы знать. Да, погодите. Когда я повернул обратно, то повстречал какого-то человека. Вы спросите — ну и что же, разве кому-либо возбраняется ходить в час ночи по Длажденной улице? В этом нет ничего подозрительного. Я и сам ничего в том не заподозрил; однако остановился под самым фонарем и стал закуривать сигарету. Знаете, мы всегда так поступаем, когда впоотьмах хотим кого-нибудь внимательно разглядеть. Как вы думаете, это была случайность, привычка, или...некая неосознанная тревога?

— Не знаю, — сказал Дастих.

— Я тоже, черт побери! — злобно воскликнул Мейзлик. — Зажигаю я сигарету под самым фонарем, а человек проходит мимо меня. Господи, я даже не взглянул ему в лицо, стоял, уставившись в землю. Этот парень уже прошел, и тут что-то мне в нем не понравилось. «Проклятие! — сказал я сам себе. — Тут что-то не в порядке, но что именно? Ведь я этого типа даже не разглядел». Стою я у фонаря, под проливным дождем, и раздумываю. И вдруг меня осенило... Ботинки! У этого человека что-то странное было на ботинках.

— «Опилки!» — неожиданно громко проговорил я.

— Какие опилки? — спросил Дастих.

— Обыкновенные металлические опилки. В ту минуту я понял, что у прохожего на ранте ботинок были опилки.

— А почему бы у него на ботинках не могли быть опилки? — спросил Дастих.

— Могли, разумеется, — воскликнул Мейзлик, — но именно в этот момент я просто видел, да, да, видел вскрытый сейф, из которого на пол сыплются металлические опилки. Знаете, опилки от стальных пластин. Я просто видел, как эти ботинки шлепают по этим опилкам.

— Так это интуиция, — решил Дастих, — гениальная, но бессознательная.

— Бессмыслица! — сказал Мейзлик. — Да не будь дождя, я бы на эти опилки и внимания не обратил. Но когда идет дождь, обычно на обуви не бывает опилок, понимаете?

— Ну так это эмпирический вывод, — уверенно произнес Дастих. — Блестящий вывод, сделанный на основе опыта. А что дальше?

— Я, конечно, пошел за этим парнем, и, само собой разумеется, он закатился к «Трем девицам». Потом я по телефону вызвал двух сыщиков, и мы устроили облаву: нашли и Розенбаума с опилками на ботинках, воровской инструмент, и двадцать тысяч из кассы Еврейского благотворительного общества. В этом уж не было ничего необычного. Знаете, в газетах писали, что на сей раз наша полиция проявила блестящую оперативность. Какая бессмыслица! Скажите, пожалуйста, что было бы, если бы я случайно не пошел по Длажденной улице и случайно не поглядел этому прохвосту на ботинки? То-то и оно! Так вот, была ли это только случайность? — удрученно спросил доктор Мейзлик.

— А это и не важно, — произнес Дастих, — Поймите, молодой человек, ведь это успех, с которым вас можно поздравить.

— Поздравить! выпалил Мейзлик. — Господин Дастих! Да как же тут поздравлять, когда я не знаю, чему я обязан своим успехом? Своей сверхъестественной проницательности? Полицейской привычке или просто счастливой случайности? А может, интуиции или телепатии? Подумать только! Ведь это — мое первое настоящее дело! Человек должен чем-то руководствоваться! Предположим, завтра меня заставят расследовать какое-нибудь убийство Господин Дастих, что я буду делать? Начну бегать по улицам и пристально смотреть на все ботинки? Или побреду куда глаза глядят в надежде, что предчувствие или внутренний голос приведут меня прямо в объятия убийцы? Вот ведь какая история получается! Вся полиция теперь твердит: у этого Мейзлика нюх, из этого парня в очках

будет толк, у него талант детектива Отчаянное положение! — ворчал Мейзлик. — Какая-то метода должна у меня быть?! Понимаете, до этого случая я верил во всякие бесспорные методы, где важную роль играют внимание, опыт, систематическое следствие и прочая чепуха. Но когда я задумываюсь над этой историей, то вижу... Послушайте! — воскликнул доктор Мейзлик с облегчением. — Я думаю, что все это — просто счастливая случайность.

— Да, похоже, — сказал Дастих мудро. — Но известную роль здесь сыграли логика и пристальное внимание.

— И обычная рутина, — горько добавил молодой полицейский чиновник.

— И еще интуиция. А также в какой-то мере дар предвидения. И инстинкт.

— Господи боже мой! Так вы теперь видите, как все это сложно, — огорчился Мейзлик — Скажите, что же мне теперь делать?

— Доктор Мейзлик, вас к телефону, — позван его метрдотель. — Звонят из полицейского управления

— Вот вам, пожалуйста! — проворчал удрученный Мейзлик. Когда Мейзлик вернулся, он был бледен и взволнован

— Кельнер, счет! — крикнул он раздраженно. — Так оно и есть, сказал он Дастиху. — Нашли какого-то иностранца, убитого в отеле, проклятие...

И Мейзлик ушел

Казалось, этот энергичный молодой человек сам не свой от волнения.

### Голубая хризантема

— Я расскажу вам, — сказал старый Фулинус, — как появилась на свет голубая хризантема «Клара». Жил я в ту пору в Лубенце и разбивал лихтенбергский парк в княжеском имении. Старый князь, сударь, знал толк в садоводстве. Он выписывал из Англии, от Вейче, целые деревья и одних луковиц заказал в Голландии семнадцать тысяч. Но это так, между прочим. Так вот, однажды в воскресенье иду я по улице и встречаю юродивую Клару, этакую глухонемую дурочку, вечно она заливается блаженным смехом. Не знаете ли вы, почему юродивые всегда так счастливы? Я хотел обойти ее стороной, чтобы не полезла целоваться, и вдруг увидел в лапах у нее букет — укроп и какие-то еще полевые цветы, а среди них, знаете что? Немало я на своем веку цветов видел, но тут меня чуть удар не хватил: в букетике у этого чучела была махровая голубая хризантема! Голубая, сударь! Цвета примерно *Phlox Laphami* [разновидность флоксов.]; лепестки с чуть сероватым отливом и атласно-розовой каемкой; сердцевина похожа на *Campanula trachelium* [разновидность садовых колокольчиков.] — цветок необыкновенно красивый, пышный. Но не в этом дело. Дело в том, сударь, что такой цвет у индийских хризантем устойчивых сортов, тогда, да и сейчас, совершенная невидаль. Несколько лет назад я побывал в Лондоне у старого сэра Джемса Вейче, и он как-то похвалился мне, что однажды у них цвела хризантема, выписанная прямо из Китая, голубая, с лиловатым оттенком; зимой она, к сожалению, погибла. А тут в лапах у Клары, у этого пугала с вороньим голосом, такая голубая хризантема, что красивее трудно себе и представить. Ладно...

Клара радостно замычала и сует мне этот самый букет. Я дал ей крону и показываю на хризантему.

— Где ты взяла ее, Клара?

Клара радостно кудачет и хохочет. Больше я ничего от нее не добился. Кричу, показываю на хризантему, — хоть бы что. Знай лезет обниматься.

Побежал я с этой драгоценной хризантемой к старому князю.

— Ваше сиятельство, они растут где-то тут, неподалеку. Давайте искать.

Старый князь тотчас велел запрягать и сказал, что мы возьмем с собой Клару. А Клара тем временем куда-то исчезла, будто провалилась. Стоим мы около коляски и ругаемся на чем свет стоит, — князь-то прежде служил в драгунах. Не успели мы еще и наругаться вдоволь, как вдруг, высунув язык, прибегает Клара и протягивает мне целый букет голубых

хризантем, только что сорванных. Князь сует ей сто крон, а Клара от обиды давай реветь. Она, бедняжка, никогда не видела сотенной бумажки. Пришлось мне дать ей одну крону. Тогда она успокоилась, стала визжать и пританцовывать, а мы посадили ее на козлы, показали ей на хризантемы: ну, Клара, куда ехать?

Клара на козлах взвизгивала от удовольствия. Вы себе не представляете, как был шокирован почтенный кучер, которому пришлось сидеть рядом с ней. Лошади шарахались от визга и кудахтанья Клары, в общем чертовская была поездка. Так вот, едем мы этак часа полтора. Наконец я не выдержал.

— Ваше сиятельство, мы проехали не меньше четырнадцати километров.

— Все равно, — проворчал князь, — хоть сто!

— Ладно, — отвечаю я. — Но ведь Клара-то вернулась со вторым букетом через час. Стало быть, хризантемы растут не дальше чем в трех километрах от Лубенца.

— Клара! — крикнул князь и показал на голубые хризантемы. — Где они растут? Где ты их нарвала?

Клара закаркала в ответ и все тычет рукой вперед. Вернее всего ей понравилось кататься в коляске. Верите ли, я думал, князь пристукнет ее со злости, уж он-то умел гневаться! Лошади были в мыле, Клара кудахтала, князь бранился, кучер чуть не плакал с досады, а я ломал голову, как найти голубые хризантемы.

— Ваше сиятельство, — говорю, — так не годится. Давайте искать без Клары. Обведем на карте кружок вокруг Лубенца радиусом в три километра, разделим его на участки и будем ходить из дома в дом.

— Милейший, — говорит князь, — в трех километрах от Лубенца нет ведь ни одного парка.

— Вот и хорошо, — отвечаю я. — Черта с два вы нашли бы в парке, разве только *ageratum* [*Ageratum* — декоративное садовое растение, вывезенное из Мексики; имеет красивые синие цветы.] или канны. Смотрите, тут, внизу, к стеблю хризантемы прилипла щепотка земли. Это не садовый перегной, а вязкая глина, удобренная скорее всего фекалиями. А на листьях следы голубинового помета, стало быть, надо искать там, где много голубей. Скорее всего эти хризантемы растут где-то у плетня, потому что вот тут, среди листьев, застрял обломок еловой коры. Это верная примета.

— Ну и что? — спрашивает князь.

— А то, — говорю. — Эти хризантемы надо искать около каждого домика в радиусе трех километров... Давайте поделимся на четыре отряда: вы, я, ваш садовник и мой помощник Венцл, и пойдем.

Ладно. Утром первое событие было такое: Клара опять принесла букет голубых хризантем. После этого я обшарил весь свой участок, в каждом трактире пил теплое пиво, ел сырки и расспрашивал о хризантемах. Лучше не спрашивайте, сударь, как меня пронесло после этих сырков. Жарища была адская, такая редко выдается в конце сентября, а я лез в каждую хату и терпеливо слушал разные грубости, потому что люди были уверены, что я спятил или что я коммивояжер или какой-нибудь инспектор. К вечеру для меня стало ясно: на моем участке хризантемы не растут. На трех других участках их тоже не нашли. А Клара снова принесла букет свежих голубых хризантем!

Вы знает, мой князь — важная персона в округе. Он созвал местных полицейских, дал каждому по голубой хризантеме и посулил им бог весть что, если они отыщут место, где растут эти цветы. Полицейские — образованные люди, сударь. Они читают газеты, и кроме того, знают местность как свои пять пальцев и пользуются авторитетом у жителей. И вот, заметьте себе, в тот день шестеро полицейских, а вместе с ними деревенские старосты и стражники, школьники и учителя, да еще шайка цыган, облазили всю округу в радиусе трех километров, оборвали все какие ни на есть цветы и принесли их князю. Господи боже, чего там только не было, будто на празднике божьего тела! Но голубой хризантемы, конечно, ни следа. Клару мы весь день сторожили; вечером, однако, она удрала, а в полночь принесла мне целую охапку голубых хризантем. Мы велели посадить ее под замок, чтобы она не

оборвала все цветы до единого, но сами совсем приуныли. Честное слово, просто наваждение какое-то: ведь местность там ровная, как ладонь...

Слушайте дальше. Если человеку очень не везет или он в большой беде, он вправе быть грубым, я понимаю. И все-таки, когда князь в сердцах сказал мне, что я такой же кретин, как Клара, я ответил ему, что не позволю всякому старому ослу бранить меня, и отправился прямехонько на вокзал. Больше меня в Лубенце не увидят! Уселся я в вагон, поезд тронулся, и тут я заплакал, как мальчишка. Заплакал потому, что не увижу больше голубой хризантемы, потому что навсегда расстанусь с ней. Сажу я так, хнычу и гляжу в окно, вдруг вижу у самого полотна мелькнули какие-то голубые цветы Господин Чапек, я не мог с собой совладать, вскочил и, сам уже не знаю как, ухватился за ручку тормоза. Поезд дернулся, затормозил, я стукнулся о противоположную лавку и при этом сломал себе вот этот палец. Прибегает кондуктор, я бормочу, что, мол, забыл что-то очень нужное в Лубенце.

Пришлось заплатить крупный штраф. Ругался я, как извозчик, ковыляя по полотну к этим голубым цветам. «Олух ты, — твердил я себе, — наверное, это осенние астры или еще какая-нибудь ерунда. А ты вышвырнул такие сумасшедшие деньги!» Прошел я метров пятьсот и уже думаю, что эти голубые цветы не могут быть так далеко, наверное я их не заметил или вообще они мне померещились. Вдруг вижу на маленьком пригорке домик путевого обходчика, а за частоколом что-то голубое. Гляжу — два кустика хризантем!

Сударь, всякий младенец знает, какая ерунда растет в садиках около таких сторожек: капуста да тыква, обыкновенный подсолнечник и несколько кустиков красных роз, мальвы, настурции, ну, георгины. А тут и этого не было; одна картошка и фасоль, куст бузины, а в углу, у забора, — две голубые хризантемы!

— Приятель, — говорю я хозяину через забор, — откуда у вас эти голубые цветочки?

— Эти-то? — отвечает сторож. — Остались еще от покойного Чермака, что был сторожем до меня. А ходить по путям не ведено, сударь. Вон там, глядите, надпись: «Хожение по железнодорожным путям строго воспрещается». Что вы тут делаете?

— Дядюшка, — я к нему, — а где же дорога к вам?

— По путям, — говорит он — Но по ним ходить нельзя. Да и чего вам тут делать? Проваливайте восвояси, но по путям не ходите.

— Куда же мне проваливать?

— Мне все равно, — кричит сторож — А по путям нельзя, и все тут!

Сел я на землю и говорю:

— Слушайте, дед, продайте мне эти голубые цветы.

— Не продам, — ворчит сторож. — И катитесь отсюда. Здесь сидеть не положено.

— Почему не положено? — возражаю я. — На табличке ничего такого не написано. Тут говорится, что воспрещается ходить, я и не хожу.

Сторож опешил и ограничился тем, что стал ругать меня через забор. Старик, видимо, жил бобылем; вскоре он перестал браниться и завел разговор сам с собой, а через полчаса вышел на обход путей и остановился около меня.

— Ну, что, уйдете вы отсюда или нет?

— Не могу, — говорю я. — По путям ходить запрещено, а другого выхода отсюда нет.

Сторож на минуту задумался.

— Знаете, что? — сказал он наконец. — Вот я сверну на ту тропинку, а вы тем временем уходите по путям. Я не увижу.

Я поблагодарил его от души, а когда сторож свернул на тропинку, я перелез через забор и его собственной мотыгой вырыл оба кустика голубой хризантемы. Да, я украл их, сударь! Я честный человек и крал только семь раз в жизни, и всегда цветы.

Через час я сидел в поезде и вез домой похищенные голубые хризантемы. Когда мы проезжали мимо сторожки, там стоял с флажком этот старикан, злой, как черт. Я помахал ему шляпой, но думаю, он меня не узнал.

Теперь вы понимаете, сударь, в чем было все дело: там торчала надпись «Ходить



воспрещается». Поэтому никому — ни нам, ни полицейским, ни цыганам, ни школьникам — не пришло в голову искать там хризантемы. Вот какую силу имеет надпись «Запрещается». Может быть, около железнодорожных сторожек растет голубой первоцвет, или дерево познания добра и зла, или золотой папоротник, но их никто никогда не найдет, потому что ходить по путям строго воспрещается, и баста. Только Клара туда попала — она была юродивая и читать не умела.

Поэтому я и назвал свою голубую хризантему «Клара» и возжусь с ней вот уже пятнадцать лет. Видимо, я ее избаловал хорошей землей и поливкой. Этот вахлак сторож совсем ее не поливал, земля там была твердая, как железка. Весной хризантемы у меня оживают, летом дают почки, а в августе уже вянут. Представляете, я, единственный в мире обладатель голубой хризантемы, не могу отправить ее на выставку. Куда против нее «Бретань» и «Анастасия», они ведь только слегка лиловатые. А «Клара», о сударь, когда у меня зацветет «Клара», о ней заговорит весь мир!

### Гадалка

Каждый понимающий человек смекнет, что эта история не могла произойти ни у нас, ни во Франции, ни в Германии, потому что в этих странах, как известно, судьи обязаны судить и карать правонарушителей согласно букве закона, а отнюдь не по собственному разумению и совести. А так как в нашей истории фигурирует судья, который выносит свое решение, исходя не из статей законов, а из здравого смысла, то ясно, что произошла она в Англии, и, в частности, в Лондоне, точнее говоря, в Кенсингтоне, или нет, постойте, кажется в Бромптоне, а может быть, в Бейсуотере [*городские районы Лондона.* ]. В общем, где-то там. Судья, о котором пойдет речь, — магистр права мистер Келли, а женщину звали просто Мейерс Миссис Эдит Мейерс.

Да будет вам известно, что эта почтенная дама обратила на себя внимание полицейского комиссара Мак-Лири.

— Дорогая моя, — сказал однажды вечером Мак-Лири своей супруге. — У меня не выходит из головы эта миссис Мейерс. Хотел бы я знать, на какие средства она живет. Подумать только сейчас, в феврале, она посылает кухарку за спаржей! Кроме того, я выяснил, что у нее в день бывает около дюжины посетительниц — начиная с лавочницы и до герцогини. Я знаю, дорогая, вы скажете, что она, наверное, гадалка. А что, если это только ширма, например, для сводничества или шпионажа? Хотел бы я выяснить это дело.

— Хорошо, Боб, — сказала бравая миссис Мак-Лири, — предоставьте это мне.

И вот на следующий день миссис Мак-Лири, — разумеется, без обручального кольца, легкомысленно одетая и завитая, как перезрелая девица, которой давно пора замуж, — позвонила у дверей миссис Мейерс и, войдя, сделала испуганное лицо. Ей пришлось немного подождать, пока миссис Мейерс примет ее.

— Садитесь, дитя мое, — сказала эта пожилая дама, внимательно разглядывая смущенную посетительницу. — Чем могу быть вам полезна?

— Я... я... — запинаясь, проговорила Мак-Лири. — Я хотела бы... завтра мне исполнится... двадцать лет... Мне бы очень хотелось узнать свое будущее.

— Ах, мисс... как, извиняюсь, ваше имя? — осведомилась миссис Мейерс и, схватив колоду карт, начала энергично тасовать их.

— Джонс... — прошептала миссис Мак-Лири.

— Дорогая мисс Джонс, — продолжала миссис Мейерс, — вы ошиблись, я не занимаюсь гаданием. Так, иной раз случается, как всякой старухе, раскинуть карты кому-нибудь из знакомых... Снимите карты левой рукой и разложите их на пять кучек. Так Иногда для развлечения разложу карты, а вообще говоря. Ага! — воскликнула она, переворачивая первую кучку. — Бубны, это к деньгам. И валет червей. Отличные карты!

— Ах! — сказала Мак-Лири. — А что дальше?

— Бубновый валет, — объявила миссис Мейерс, открывая вторую кучку. — Десятка пик, это дорога. А вот трефы — трефы всегда означают неприятность, удар. Но в конце — червонная дама.

— Что это значит? — спросила миссис Мак-Лири, старательно пяля глаза.

— Опять бубны, — размышляла миссис Мейерс над третьей кучкой. — Дитя мое, вас ждет богатство. И кому-то предстоит дальняя дорога, не знаю еще, вам или кому-нибудь из ваших близких.

— Мне надо съездить в Соутгемптон, к тетке, — сказал миссис Мак-Лири.

— Нет, это дальняя дорога, — молвила гадалка, открывая еще одну кучку карт. — И вам будет мешать какой-то пожилой король.

— Наверно, папаша! — воскликнула миссис Мак-Лири.

— Ага, вот оно! — торжественно объявила гадалка, открыв последнюю кучку. — Милая мисс Джонс, вам вышли самые счастливые карты, какие мне доводилось видеть. Года не пройдет, как вы будете замужем. На вас женится молодой и очень, очень богатый король — миллионер. Видимо, он коммерсант, так как много путешествует. Но для того, чтобы соединиться с ним, вам придется преодолеть большие препятствия. У вас на пути станет какой-то пожилой король. Но вы должны добиться своего. Выйдя замуж, вы уедете далеко отсюда, скорее всего за море... С вас одна гиней на дело обращения в христианство заблудших язычников-негров.

— Я так благодарна вам, — сказала миссис Мак-Лири, вынимая из сумочки гиней. — Так благодарна! Скажите, пожалуйста, миссис Мейерс, а сколько будет стоить, если без неприятностей.

— Судьба неподкупна, — с достоинством произнесла старая дама. — Чем занимается ваш папаша?

— Служит в полиции, — с невинным видом соврала миссис Мак-Лири — Знаете, в сыском отделении.

— Ага! — сказала гадалка и вынула из колоды три карты.

— Дело плохо, совсем плохо... Передайте ему, милое дитя, что ему грозит серьезная опасность. Не мешало бы ему посетить меня и узнать подробности. У меня бывают многие из Скотленд Ярда, делятся своими горестями, а я им раскидываю карты. Так что вы пошлите ко мне своего папашу. Вы, кажется, сказали, что он служит в политической полиции? Мистер Джонс? Передайте ему, что я буду ждать его. Всего хорошего, милая мисс Джонс... Следующая!

— Это дело мне не нравится, — сказал мистер Мак-Лири, задумчиво почесывая затылок. — Не нравится оно мне, Кети. Эта дама слишком интересовалась вашим покойным папашей. Кроме того, фамилия ее не Мейерс, а Мейергофер и родом она из Любека Чертова немка, как бы поймать ее с поличным? Ставлю пять против одного, что она выведывает у людей сведения, до которых ей нет никакого дела. Знаете что, я доложу об этом начальству

И мистер Мак-Лири действительно доложил начальству. Вопреки ожиданиям, начальство не пропустило мимо ушей его слова, и почтенная миссис Мейерс была вызвана к судье мистеру Келли.

— Итак, миссис Мейерс, — сказал судья, — в чем там дело с вашим гаданьем?

— Ах, сэр, — отвечала старая дама. — Надо же чем-то зарабатывать на жизнь. В моем возрасте не пойдешь плясать в варьете.

— Гм, — сказал судья, — но вас обвиняют в том, что вы плохо гадаете. Милая миссис Мейерс, это все равно что вместо шоколада продавать плитки из глины. За гиней люди имеют право на настоящее гаданье. Отвечайте, почему вы беретесь гадать не умея?

— Иные не жалуются, — оправдывалась старая дама. — Я, видите ли, предсказываю людям то, что им нравится, и за такое удовольствие стоит заплатить несколько шиллингов. Случается, я угадываю. На днях одна дама сказала мне: «Миссис Мейерс, еще никто так верно не гадал мне, как вы». Она живет в Сайнт-Джонс-Вуд и разводится с мужем...

— Пойдите, — прервал ее судья. — Против вас есть свидетельница Миссис Мак-Лири, расскажите, как было дело.

— Миссис Мейерс предсказала мне по картам, — бойко заговорила миссис Мак-Лири, — что не пройдет и года, как я выйду замуж. На мне, мол, женится молодой богач и я уеду с ним за океан.

— А почему именно за океан? — поинтересовался судья.

— Потому что во второй кучке была пиковая десятка. Миссис Мейерс сказала, что это дорога.

— Вздор! — проворчал судья. — Пиковая десятка это надежда. Дорогу предвещает пиковый валет. А если с ним рядом ляжет семерка бубен — это значит дальняя дорога с денежным интересом. Меня не проведешь, миссис Мейерс. Вот вы нагадали свидетельнице, что не пройдет и года, как она выйдет за молодого богача, а она уже три года замужем за примерным полицейским комиссаром Мак-Лири. Как вы объясните такую несообразность?

— Господи боже, — невозмутимо ответила старая дама, — без промахов не обходится. Эта особа пришла ко мне франтихой, а левая перчатка у нее была рваная. Значит, денег у нее не густо, а пыль в глаза пустить хочется. Сказала, что ей двадцать лет, а самой двадцать пять.

— Двадцать четыре! — воскликнула миссис Мак-Лири.

— Это все равно. Видно было, что ей хочется замуж, — она корчила из себя барышню. Поэтому я гадала ей на замужество и на богатого жениха. Я считала, что это для нее самое подходящее.

— А причем тут трудности, пожилой король и заокеанское путешествие?

— Для полноты впечатления, — откровенно призналась миссис Мейерс. — За гинею надо наговорить с три короба...

— Достаточно, — сказал судья. — Миссис Мейерс, такое гаданье — не что иное, как мошенничество. Гадать надо умеючи. В этом деле существуют разные теории, но имейте в виду, что десятка пик никогда не означает дороги. Приговариваю вас к пятидесяти фунтам штрафа, на основании закона против фальсификации продуктов и продажи поддельных товаров. Кроме того, вас подозревают в шпионаже, в чем, я полагаю, вы не сознаетесь?

— Как бог свят!... — воскликнула миссис Мейерс, но судья прервал ее:

— Хватит, вопрос решен. Поскольку вы иностранка и лицо без определенных занятий, органы политического надзора, используя предоставленное им право, высылают вас за пределы страны. Всего хорошего, миссис Мейерс, благодарю вас, миссис Мак-Лири. И не забудьте, миссис Мейерс, что такое гаданье бессовестно и цинично.

— Вот беда, — вздохнула старая дама. — А у меня только что начала создаваться клиентура...

Спустя год судья Келли и комиссар Мак-Лири встретились.

— Отличная погода, — приветливо сказал судья, — кстати, как поживает миссис Мак-Лири?

Мак— Лири поморщился.

— Видите ли, мистер Келлч, — не без смущенья сказал он, — миссис Мак-Лири... Словом, мы в разводе.

— Да что вы! — удивился судья. — Такая красивая молодая женщина!

— Вот в том-то и дело, — проворчал Мак-Лири — В нее ни с того ни с сего по уши влюбился один молодой франт... миллионер... торговец из Мельбурна... Я ее всячески удерживал, но... — Мак-Лири безнадежно махнул рукой. — Неделию назад они уехали в Австралию.

## Ясновидец

— Меня не так легко провести, уверяю вас, господин прокурор, — сказал Яновиц. — Недаром я еврей, а? Но то, что делает этот человек, выше моего разума. Тут не только графология, тут бог весть что такое. Представьте себе, дают ему образец почерка в



незапечатанном конверте. Он даже не поглядит, только сунет пальцы в конверт, пощупает бумагу и при этом малость скривит рот, словно ему больно. И тут же начинает описывать характер человека по почерку... Да как описывать, — диву даешься! Все насквозь видит! Я дал ему в конверте письмо старого Вейнберга, так он все выложил и что у старика диабет и что он на краю банкротства. Что вы на это скажете?

— Ничего, — сухо ответил прокурор. — Может, он знает старого Вейнберга.

— Но ведь он даже не видел почерка, — живо возразил Яновиц. — Он уверяет, что у каждого почерка свой флюид, который вполне отчетливо ощутим. Это, говорит он, такое же физическое явление, как радиоволны. Господин прокурор, тут нет жульничества: этот самый князь Карадаг даже денег не берет, он, говорят, из очень старинной бакинской семьи, мне один русский рассказывал. Да что я буду вас убеждать, приходите лучше сами поглядеть, сегодня вечером он будет у нас. Обязательно приходите!

— Послушайте, господин Яновиц, — отвечал прокурор, — все это очень мило, но иностранцам я верю мало, от силы наполовину, особенно если источники их существования мне неизвестны. Русским я верю еще меньше, а этим факирам, и совсем мало. Если же он вдобавок князь, то я не верю ему ни на грош. Где, вы говорите, он научился этому? Ага, в Персии. Оставьте меня в покое, господин Яновиц. Восток — это сплошное шарлатанство.

— Ну, что вы, господин прокурор, — возразил Яновиц. — Этот молодой человек все объясняет с научной точки зрения. Никакой магии или потусторонних сил. Говорю вам, чисто научный метод.

— Тем более это шарлатанство, — изрек прокурор. — Удивляюсь вам, господин Яновиц. Всю жизнь вы обходились без «чисто научных методов», а теперь ухватились за них. Ведь будь здесь что-нибудь серьезное, все это давно было бы известно науке, как вы полагаете?

— М-да... — промычал Яновиц, слегка поколебленный. — Но ведь я сам свидетель того, как он раскусил старого Вейнберга. Это было просто гениально. Знаете что, господин прокурор, приходите все-таки посмотреть. Если это жульничество, вы сразу увидите, на то вы и специалист. Вас ведь никто не проведет, а?

— Да, едва ли, — скромно отозвался прокурор. — Ладно, я приду, господин Яновиц. Приду только затем, чтобы раскусить этот ваш феномен. Просто позор, до чего у нас легковверны люди. Но вы ему не говорите, кто я такой. Вот погодите, я ему покажу один почерк, это будет необычный случай. Ручаюсь, что я изобличу его в обмане.

Надобно вам сказать, что прокурору (или, точнее говоря, старшему государственному прокурору доктору прав господину Клапке) предстояло на ближайшей сессии суда присяжных выступить обвинителем по делу Гуго Мюллера, обвиняемого в убийстве с заранее обдуманном намерением. Фабрикант и богач Гуго Мюллер был обвинен в том, что, застраховав на громадную сумму жизнь своего младшего брата Отто, утопил его в Доксанском пруду. Подозревали его и в том, что несколько лет назад он отправил на тот свет свою любовницу, но этого, разумеется, нельзя было доказать. В общем, это был крупный процесс, и Клапке хотелось блеснуть на нем. Он работал над делом Мюллера со всей свойственной ему энергией и проницательностью, стяжавшими ему славу одного из самых грозных прокуроров. Дело, однако, было не вполне ясное, и прокурор отдал бы что угодно, хотя бы за одно бесспорное доказательство. Но, для того чтобы отправить Мюллера на виселицу, обвинителю приходилось больше полагаться на свое красноречие, чем на материалы следствия. Да будет вам известно, что добиться смертного приговора для убийцы — дело чести прокурора.

В тот вечер Яновиц даже немножко волновался, представляя ясновидца прокурору.

— Князь Карадаг, — сказал он тихим голосом. — Доктор Клапка... Пожалуй, можно начинать, не так ли?

Прокурор испытующе взглянул на этот экзотический экземпляр. Перед ним стоял худощавый молодой человек в очках, лицом похожий на тибетского монаха. Пальцы у него были тонкие, воровские. «Авантюрист!» — решил прокурор.

— Господин Карадаг, — тараторил Яновиц. — Пожалуйста сюда, к столику. Бутылка минеральной воды там уже приготовлена. Зажгите, пожалуйста, торшер, а люстру мы погасим, чтобы она вам не мешала. Так. Прошу потише, господа. Господин про... м— м, господин Клапка принес некое письмо. Если господин Карадаг будет столь любезен, что...

Прокурор откашлялся и сел так, чтобы получше видеть ясновидца.

— Вот письмо, — сказал он и вынул из кармана незапечатанный конверт. — Пожалуйста.

— Благодарю, — глухо сказал ясновидец, взял конверт и, прикрыв глаза, повертел его в руках. Вдруг он вздрогнул и покачал головой. — Странно! — пробормотал он и отпил воды, потом сунул свои тонкие пальцы в конверт и замер. Его смуглое лицо побледнело.

В комнате стояла такая тишина, что слышен был легкий хрип Яновица, который страдал одышкой.

Тонкие губы Карадага дрожали и кривились, словно он держал в руках раскаленное железо, на лбу выступил пот.

— Нестерпимо! — пробормотал он, вынул пальцы из конверта, вытер их платком и с минуту водил ими по скатерти, будто точил их, как ножи. Потом нервно отпил глоток воды и осторожно взял конверт.

— В человеке, который это писал, — сухо начал он, — есть большая внутренняя сила, но... — Карадаг, видимо, искал слово, — такая, которая подстерегает... Это страшно! — воскликнул он и выпустил конверт из рук. — Не хотел бы я, чтобы этот человек был моим врагом.

— Почему? — не сдержался прокурор. — Он совершил что-нибудь нехорошее?

— Не задавайте вопросов, — сказал ясновидец. — В каждом вопросе кроется ответ. Я знаю лишь, что он способен на что угодно... на великие и ужасные поступки. У него чудовищная сила воли... и жажда успеха... богатства... Жизнь ближнего для него не помеха. Нет, он незаурядный преступник. Тигр ведь тоже не преступник. Тигр — властелин. Этот человек не способен на подлости... но он уверен, что распоряжается судьбами людей. Когда он выходит на охоту, люди для него — добыча. Он убивает их.

— Он стоит по ту сторону добра и зла, — пробормотал прокурор, явно соглашаясь с ясновидцем.

— Все это только слова, — ответил тот. — Никто не стоит по ту сторону добра и зла. У этого человека свой строгий моральный кодекс. Он никому ничего не должен, он не крадет и не обманывает. Убить для него все равно, что дать шах и мат на шахматной доске. Такова его игра, и он честно соблюдает ее правила. — Ясновидец озабоченно наморщил лоб.

— Не знаю, что это значит, но я вижу большой пруд и на нем моторную лодку.

— А дальше что? — затаив дыхание, воскликнул прокурор.

— Больше ничего не видно, все расплывается. Как-то странно расплывается и становится туманным под натиском жестокой и безжалостной воли человека, приготовившегося схватить добычу. Но в ней нет охотничьей страсти, есть только доводы рассудка. Абсолютная рассудочность в каждой детали. Словно решается математическая задача или техническая проблема. Этот человек никогда ни в чем не раскаивается, он уверен в себе и не боится упреков собственной совести. Мне кажется, что он на всех смотрит свысока, он очень высокомерен и самолюбив. Ему нравится, что люди его боятся. — Ясновидец выпил еще глоток воды. — Но вместе с тем он актер. По сути дела он честолюбец, который любит позировать перед людьми. Ему хотелось бы поразить мир своими деяниями... Хватит, я устал. Он мне неприятен.

— Слушайте, Яновиц, — обратился к хозяину взволнованный прокурор. — Ваш ясновидец в самом деле поразителен. Он нарисовал точнейший портрет: сильный и безжалостный человек, для которого люди только добыча; мастер в своей игре; рассудочная натура, которая логически обосновывает свои поступки и никогда не раскаивается; джентльмен и притом позер. Господин Яновиц, этот Карадаг разгадал его полностью!

— Вот видите, — обрадовался польщенный Яновиц. — Что я вам говорил! Это было

письмо от либерецкого Шлифена, а?

— Что вы! — воскликнул прокурор. — Господин Яновиц, это письмо одного убийцы.

— Неужели! — изумился Яновиц. — А я-то думал, что оно от текстильщика Шлифена. Он, знаете ли, великий разбойник, этот Шлифен.

— Нет. Это было письмо Гуго Мюллера, этого братоубийцы. Вы обратили внимание, что ясновидец упомянул о пруде и моторной лодке. С этой лодки Мюллер бросил в воду своего брата.

— Быть не может, — изумился Яновиц. — Вот видите, господин прокурор, какой изумительный талант!

— Бесспорно, — согласился тот. — Как он анализировал характер этого Мюллера и мотивы его поступков! Это просто феноменально! Даже я не сделал бы этого с такой глубиной. А ясновидец только пощупал письмо, и пожалуйста... Господин Яновиц, здесь что-то есть. Видимо, человеческий почерк действительно испускает некие флюиды или нечто подобное.

— Я же вам говорил! — торжествовал Яновиц. — А кстати, господин прокурор, покажите мне почерк убийцы. Никогда в жизни не видывал!

— Охотно, — сказал прокурор и вытащил из внутреннего кармана тот самый конверт. — Кстати, письмо интересно само по себе... — добавил он, извлекая листок из конверта, и вдруг изменился в лице, — вернее... Собственно говоря, господин Яновиц, это письмо-документ из судебного дела... так что я не могу вам его показать. Прошу прощения...

Через несколько минут прокурор бежал домой, не замечая даже, что идет дождь. «Я — осел! — твердил он себе с горечью. — Я — кретин! И как только могло это со мной случиться?! Идиот! Вместо письма Мюллера второпях вынуть из дела собственные заметки к обвинительному заключению и сунуть их в конверт! Обормот! Стало быть, это мой почерк! Покорно благодарю! Погоди же, мошенник, теперь-то я тебя подстерегу!»

«А впрочем, — прокурор начал успокаиваться, — он ведь не сказал ничего очень дурного. Сильная личность, изумительная воля, не способен к подлостям... Согласен. Строгий моральный кодекс... Очень даже лестно! Никогда ни в чем не раскаиваюсь... Ну и слава богу, значит, не в чем: я только выполняю свой долг. Насчет рассудочной натуры тоже правильно. Вот только с позерством он напутал... Нет, все-таки он шарлатан!»

Прокурор вдруг остановился. «Ну, ясно! — сказал он себе. — То, что говорил этот князь, приложимо почти к каждому человеку. Все это просто общие места. Каждый человек немного позер и честолюбец. Вот и весь фокус: надо говорить так, чтобы каждый мог узнать самого себя. Именно в этом все дело», — решил прокурор и, раскрыв зонтик, зашагал домой своей обычной энергической походкой.

— Господи, боже мой, — огорчился председатель суда, снимая судейскую мантию. — Уже семь часов! Ну и затянули опять! Еще бы, прокурор говорил два часа. Но выиграл процесс! При таких слабых доказательствах добиться смертного приговора, — это называется успех! Да, пути присяжных заседателей неисповедимы. А здорово он выступал! — продолжал председатель, моя руки. — Главное, как он охарактеризовал этого Мюллера — великолепный психологический портрет. Этакий чудовищный, нечеловеческий характер, слушаешь и прямо бросает в дрожь. Помните, коллега, как он сказал: «Это незаурядный преступник. Он не способен на подлости, не крадет, не обманывает. Но, убивая человека, он спокоен, словно делает на доске шах и мат. Он убивает не в состоянии аффекта, а холодно, в здравом уме и твердой памяти, словно решает задачу или техническую проблему...» Превосходно сказано, коллега! И дальше: «Когда он выходит на охоту, человек для него лишь добыча...» Сравнение с тигром было, пожалуй, слишком театрально, но присяжным оно понравилось.

— Или, например, когда он сказал: «Этот убийца никогда ни в чем не раскаивается, — подхватил член суда. — Он всегда уверен в себе и не боится собственной совести...»

— А взять хотя бы такой психологический штрих, — продолжал председатель, вытирая

полотенцем руки, — что обвиняемый позер, которому хотелось бы поразить мир...

— М-да, — согласился член суда, — Клапка — опасный противник!

— «Гуго Мюллер виновен» — единогласное решение двенадцати присяжных. И кто бы мог подумать! — удивлялся председатель суда. — Все-таки Клапка добился своего. Для нашего прокурора судебный процесс — все равно что охота или игра в шахматы. Он прямо-таки вливается в каждое дело... Да, коллега, не хотел бы я иметь его своим врагом.

— А он любит, чтобы люди его боялись, — вставил член суда.

— Да, самонадеянность в нем есть, — почтенный председатель задумался. — А кроме того, у него изумительная сила воли... и жажда успеха. Сильный человек, коллега, но... — Председатель суда не нашел подходящего слова. — Пойдемте-ка ужинать!

## Тайна почерка

— Рубнер, — сказал редактор, — сходите-ка поглядите на этого графолога Енсена, сегодня он выступает перед представителями печати. Говорят, нечто потрясающее. И дайте о нем пятнадцать строк.

— Ладно, — проворчал Рубнер безразличным тоном искушенного службиста.

— Но смотрите, не поддавайтесь на мистификацию, — наставлял его редактор. — Хорошенько все проверьте, по возможности лично. Для того я и посылаю такого опытного репортера, как вы...

— ...Таковы, господа, основные принципы научной, точнее говоря, психометрической графологии, — закончил графолог Енсен свои теоретические пояснения. — Как видите, вся система построена на чисто экспериментальных основах. Разумеется, практическое применение этих эмпирических методов настолько сложно, что я не смогу подробно изложить их в этой единственной лекции. Поэтому я ограничусь тем, что продемонстрирую вам анализ двух-трех почерков, не входя в подробные объяснения аналитического процесса, на это у нас, к сожалению, сегодня нет времени. Прошу, господа, дать мне какой-нибудь образец почерка.

Рубнер, уже ожидавший этого момента, тотчас подал знаменитому графологу исписанный листок. Енсен нацепил свои волшебные очки и воззрился на почерк.

— Ага, женская рука, — усмехнулся он. — Мужской почерк обычно выразительнее и интереснее для анализа, но в конце концов... — Бормоча что-то себе под нос, графолог внимательно смотрел на листок. — Гм, гм... — произносил он, покачивая головой.

Стояла мертвая тишина.

— Скажите, эта особа -...близкий вам человек? — спросил вдруг Енсен.

— Нет, что вы! — решительно возразил Рубнер.

— Тем лучше, — сказал великий Енсен. — Тогда слушайте.

Эта женщина лжива! Таково самое первое впечатление от ее почерка: ложь, привычка лгать, лживая натура. Впрочем, у нее довольно низкий духовный уровень, образованному человеку с ней и поговорить не о чем. Ужасная чувственность, смотрите, какие жирные линии нажима... И страшно неряшлива, в доме у нее, наверное, черт знает какой беспорядок, да. Таковы основные черты почерка, как я вам уже объяснял. Они отражают те привычки, свойства, особенности характера, которые видны сразу и проявляются произвольно, так сказать, механически. Собственно психологический анализ начинается с тех черт и свойств, которые данная личность прячет или подавляет, боясь предстать без прикрас перед окружающими. Вот, например, эта женщина, — продолжал Енсен, приставив палец к носу, — она ни с кем не поделится своими мыслями. Она примитивна, но эта примитивность, так сказать, с двойным дном: у нее много мелких интересов, за которыми она прячет подлинные мысли. Эти скрытые помыслы тоже ужасающе убоги: я сказал бы, что это порочность, подчиненная душевной лени. Обратим, например, внимание на то, какая отвратительная чувственность в этом почерке (это же и признаки расточительности) сочетается с низменной рассудочностью. Эта особа слишком любит свои удобства, чтобы

пускаться в рискованные похождения. Разумеется, если подвертывается удобный случай, она... Впрочем, это не наше дело. Итак, она необычайно ленива и при этом многоречива. Если она что-нибудь сделает, то говорит потом об этом полдня, так что слушать опротивеет. Она слишком много занимается своей особой и явно никого не любит. Однако ради собственного благополучия она вцепится в кого угодно и будет уверять, что любит его и бог весть как о нем заботится. Она из тех женщин, с которыми всякий мужчина становится тряпкой просто от скуки, от бесконечной болтовни, от всей этой низменной чувственности. Обратите внимание, как она пишет начало слов, в особенности фраз, — вот эти размашистые и мягкие линии. Ей хочется командовать в доме, и она действительно командует, но не благодаря своей энергии, а в результате многословия и какой-то деланной значительности. Самая подлая тирания — это тирания слез. Любопытно, что каждый размашистый штрих завершается спадом, свидетельствующим о малодушии. У этой женщины есть какая-то душевная травма, она постоянно чего-то боится, вероятно разоблачения, которое разрушило бы ее материальное благополучие. Видимо, она мучительно скрывает что-то... гм... я не знаю что. Возможно, свое прошлое. После каждого такого невольного спада она собирает силу воли, а вернее силу привычки, и дописывает слово с тем же самодовольным хвостиком в конце, — она уже опять прониклась самонадеянностью. Отсюда и первое впечатление лживости, которое мы уже отмечали. Таким образом, вы видите, господа, что подробный анализ подтверждает наше первое, общее, несколько интуитивное впечатление. Это совпадение выводов мы называем методической взаимопроверкой.

Я уже сказал, что у этой женщины низкий духовный уровень, но он обусловлен не примитивностью, а дисгармоничностью ее натуры. Весь почерк проникнут притворством, он как бы старается быть красивее, чем на самом деле, но только в мелочах. Особа, чей почерк мы исследуем, в мелочах заботится о порядочности, старательно ставит точки над "и", а в больших делах она неряшлива, безответственна, аморальна, — полная распушенность. Особенно обращают на себя внимание черточки над буквами. Почерк имеет обычный наклон вправо, а черточки она ставит в обратном направлении, что производит странное впечатление — точно удар ножом в спину... Это говорит о вероломстве, коварстве. Фигурально выражаясь, эта женщина способна нанести удар в спину. Но она не сделает этого из-за лени... и потому что у нее слишком вялое воображение. Полагаю, что этой характеристики достаточно. Есть еще у кого-нибудь образец почерка поинтереснее?

Рубнер пришел домой мрачный, как туча.

— Наконец-то! — сказала жена. — Ты уже ужинал где-нибудь?

Рубнер сурово взглянул на нее.

— Опять начинаешь? — угрожающе проворчал он.

Жена удивленно подняла брови.

— Что начинаю, скажи, пожалуйста? Я только спросила, будешь ли ты ужинать.

— Ага, ну, конечно! — с отвращением сказал Рубнер. — Только и можешь говорить, что о жратве. Вот она, низменность интересов! Как это унижительно — вечно пустые разговоры, грубая чувственность и скука... — Он вздохнул, безнадежно махнув рукой. — Я знаю, вот так мужчина становится тряпкой!...

Жена положила шитье на колени и внимательно посмотрела на него.

— Франци, — сказала она озабоченно, — у тебя неприятности?

— Ага! — язвительно воскликнул супруг. — Проявляешь заботу обо мне, не так ли? Не воображай, что ты меня проведешь! Не-ет, голубушка, в один прекрасный день у человека раскрываются глаза, и он видит всю лживость, видит, что женщина вцепилась в него единственно ради материального благополучия... ради низкой чувственности! Бр-р-р, — содрогнулся он, — какая гнусность!

Жена Рубнера покачала головой, хотела что-то сказать, но лишь сжала губы и стала шить быстрее. Воцарилось молчание.

— Поглядеть только кругом! — прошипел через минуту Рубнер, мрачно оглядываясь по сторонам. — Неряшливость, беспорядок... Ну, конечно, в мелочах она сохраняет



видимость порядка и благопристойности. Но в серьезных вещах... Что это тут за тряпка?!

— Чиню твою рубашку, — с трудом произнесла жена.

— Чинишь рубашку? — саркастически усмехнулся Рубнер. — Ну, конечно, она чинит рубашку, и весь мир должен знать об этом! Полдня будет говорить и том, что она чинит рубашки! Сколько разговоров и саморекламы! И ты думаешь, что можешь командовать мною? Пора положить этому конец!

— Франци! — изумленно воскликнула жена. — Я обидела тебя чем-нибудь?

— Откуда я знаю, — накинулся на нее Рубнер. — Я не знаю, что ты натворила, о чем думаешь и что замышляешь. Вообще мне ничего о тебе не известно, потому что ты чертовски ловко все скрываешь. Я даже не знаю, каково твое прошлое!

— Позволь! — вспыхнула госпожа Рубнерова. — Это уже переходит всякие границы! Если ты скажешь еще хоть... — Усилием воли она сдержалась. — Милый, — сказала она в испуге, — да что с тобой случилось?

— Ага! — восторжествовал Рубнер. — Вот оно! Чего это ты так испугалась? Ясно, боишься разоблачения, которое грозит твоему мещанскому благополучию? Не так ли? Знаю, знаю! Ты ведь, при всей твоей лени, не упускаешь случая затеять одну— другую интрижку, а?

Жена просто окаменела от обиды.

— Франци, — произнесла она, глотая слезы. — Если ты имеешь что-то против меня, скажи лучше прямо. Умоляю!

— О, ровно ничего! — провозгласил Рубнер с уничтожающей иронией. — В чем я мог бы тебя упрекнуть? Это ведь совершенные пустяки, если жена распушена, аморальна, лжива, непорядочна, вульгарна, ленива, расточительна и ужасающе чувственна... Да к тому же с таким низким духовным уровнем, что...

Жена всхлипнула и встала, уронив шитье на пол.

— Прекрати! — с презрением крикнул Рубнер. — Самая подлая тирания — это тирания слез!

Но жена уже не слышала этого: сдерживая рыдания, она убежала в спальню.

Рубнер трагически расхохотался и сунул голову в дверь.

— Всадить человеку нож в спину — ты вполне способна, — воскликнул он. — Но и для этого ты слишком ленива!

Вечером Рубнер зашел в свой излюбленный ресторанчик.

— Как раз читаю вашу газету, — приветствовал его знакомец Плечка, глядя через очки. — Расхваливают графолога Енсена. В самом деле, это крупный успех, а, господин журналист?

— И какой! — отвечивал Рубнер. — Господин Янчик, подайте-ка мне бифштекс, только не жесткий... Да, скажу я вам, этот Енсен просто чудо. Я видел его вчера. Почерк он анализирует абсолютно научно.

— Значит, это жульничество, — заметил Плечка. — Сударь, я верю чему угодно, только не науке. Как с этими витаминами, пока их не было, человек знал, что он ест. А теперь не знает. Теперь в этом бифштексе есть неизвестные «жизненные факторы». Плевать мне на них! — недовольно воскликнул Плечка.

— Графология — совсем другое дело, — возразил Рубнер. — Долго рассказывать, что такое психометрия, автоматизм, первичные и вторичные признаки и всякое такое. Но я вам скажу, что этот графолог читает по почерку, как по книге. Так распишет характер человека, что вы буквально видите его перед собой. Расскажет вам, кто он такой, какое у него прошлое, о чем он думает, что скрывает, ну, словом, все! Я сам слышал, господин Плечка!

— Рассказывайте! — скептически пробурчал собеседник.

— Я вам приведу один пример, — начал Рубнер. — Один человек — не буду называть его фамилию, ее все хорошо знают — дал этому Енсену почерк своей жены. Енсен только взглянул и сразу говорит: «Это женщина насквозь лживая, неряшливая, ужасающе

чувственная и поверхностная, ленивая, расточительная, болтливая. Дома она командует, прошлое у нее темное, да еще хочет убить своего мужа». Представляете себе, этот человек побледнел как смерть, потому что все это была чистая правда. Вы только подумайте, он жил с ней счастливо двадцать лет и решительно ничего не замечал! За двадцать лет брака он не увидел в своей жене и десятой доли того, что Енсен обнаружил с первого взгляда! Здорово, а? Это должно убедить и вас!

— Удивляюсь, — сказал Плечка, — что же за шляпа этот муж, если он за двадцать лет ничего не заметил.

— Не говорите! — поспешно возразил Рубнер. — Эта женщина так ловко притворялась, что муж с ней был вполне счастлив... Счастливый человек слеп. Кроме того, знаете ли, он не владел точным научным методом. Вот, к примеру, вы видите невооруженным глазом белый цвет, а при научном анализе он распадается на несколько цветов. Личный опыт, друг мой, ничего не значит, современный человек верит только в научное исследование. И потому не удивляйтесь, что этот муж и понятия не имел, какая стерва его жена — просто он не подходил к ней с научных позиций, вот и все.

— А теперь, наверное, он с ней развелся? — вмешался в разговор ресторатор Янчик.

— Не знаю, — небрежно ответил Рубнер. — Такие пустяки меня не интересуют. Мне важно одно: как по почерку можно узнать то, чего иначе никак не узнаешь. Представьте себе, что вы знакомы с человеком много лет, всегда считали его порядочным и честным, и вдруг, хлоп, по его почерку узнаете, что он вор или закоренелый негодяй. Да, друзья мои, внешности нельзя верить. Голько научный анализ покажет, что скрыто в человеке!

— Ну и ну! — удивлялся подавленный Плечка. — Выходит, что и письма-то писать рискованно.

— Вот именно, — подтвердил Рубнер. — Представьте себе, какое значение графология получает для криминалистики. Вора можно будет посадить раньше, чем он украдет что-нибудь: допустим в его почерке нашлись «вторичные воровские штрихи», — ну и хватъ его в кутузку. У графологии огромное будущее! Это настоящая наука, в этом не может быть никакого сомнения.

Рубнер взглянул на часы.

— Гм, десять часов. Мне пора домой.

— Что сегодня так рано? — осведомился Плечка.

— Да, видите ли, — мягко сказал Рубнер, — чтобы жена не ворчала, что я все время оставляю ее одну.

## Бесспорное доказательство

— Видишь ли. Тоник, — сказал следователь Матес своему лучшему другу. — Это дело опыта — я лично не верю никаким оправданиям, никакому алиби, никаким словам; не верю ни обвиняемому, ни свидетелям. Человек лжет, сам того не желая. Например, свидетель клянется, что не питает никакой вражды к обвиняемому, и сам при этом не понимает, что где-то, в глубине души ненавидит его из скрытой зависти или из ревности. А уж показания обвиняемого всегда заранее продуманы и подстроены. Свидетель же в своих показаниях может исходить из сознательного или неосознанного стремления выручить или утопить обвиняемого. Я всех их знаю, голубчик; человек — существо лживое.

Чему же я верю? Случайностям, Тоник! Этаким произвольным, безотчетным, я бы сказал импульсивным побуждениям, поступкам или высказываниям, которые бывают свойственны всякому. Все можно изобразить и фальсифицировать, всюду царит притворство или умысел, только не в случайностях, их видно сразу. У меня такой метод: я сижу и даю человеку выболтать все, что он заранее придумал, делаю вид, что верю ему, даже помогаю выговориться и жду, когда у него сорвется случайное, невольное словечко. Для этого надо быть психологом. Иные следователи стараются запутать обвиняемого, то и дело прерывают его, сбивают с толку, так что человек наконец сознается и в том, что он убил императрицу

Елизавету. А я ищу полной ясности, хочу действовать наверняка. Вот почему я сижу и терпеливо выжидаю, пока среди упорного вранья и уверток, которые на юридическом языке называются показаниями, случайно мелькнет частица правды. Понимаешь ли, чистая правда в нашей юдоли слез открывается только по недосмотру, когда человек проговорится или сорвется.

Послушай, Тоник, у меня нет от тебя секретов, мы ведь друзья детства. Помнишь, как тебя выпороли, когда я разбил окно?... Никому бы я этого не сказал, а тебе откроюсь... Иной раз и мне хочется излиться. Я тебе расскажу, как этот мой метод оправдал себя в... в моей личной жизни, точнее говоря, в супружестве. А ты потом скажи мне, что я олух и хам, что так мне и надо!

Видишь ли... в общем, я подозревал свою жену Мартичку, словом, ревновал ее, как безумный. Мне почему-то взбрело в голову, что у нее роман с этим... с молодым... ну, назовем его Артуром. Ты его, кажется, даже не знаешь. погоди, я ведь не какой-нибудь мавр: знай я, что она его любит, я бы сказал: «Мартичка, давай разойдемся». Но вся беда была в том, что все ограничивалось одними сомнениями. Ты и не представляешь себе, что это за мука! Тяжелый был год! Знаешь ведь, какие глупости выкидывает ревнивый муж: выслеживает, подстерегает, допытывается у прислуги, устраивает сцены... Да еще учти, что я — следователь по профессии. Говорю тебе, моя семейная жизнь за последний год была сплошным перекрестным допросом, с утра и до поздней ночи.

Подследственная... я хочу сказать Мартичка, держалась превосходно. Она и плакала, и обиженно молчала, и подробно отчитывалась передо мной, где была и что делала в течение всего дня, а я все ждал, когда же она проговорится и выдаст себя. Сам понимаешь, лгала она часто, я хочу сказать, что лгала по привычке, как обычно все женщины. Женщина ведь не скажет тебе прямо, что провела два часа у модистки, она придумает, что ходила к зубному врачу или была на могиле покойной матушки. Чем больше я терзал ее ревностью — а ревнивый мужчина хуже бешеного пса, Тоник! — чем больше придирался, тем меньше у меня было уверенности в моих догадках. Десятки раз я перетолковывал и обдумывал каждое ее слово и отговорку, но не находил ничего, кроме обычных полуправд, из которых складываются нормальные человеческие отношения, а супружеские в особенности. Я знаю, как худо приходилось мне, но когда подумаю, что довелось вынести бедной Мартичке, то хочется надавать самому себе пощечин. Этим летом Мартичка поехала на курорт, во Франтишковы Лазни. У нее были какие-то женские недомогания, в общем выглядела она плохо. Я, конечно, устроил там за ней слежку, нанял одного мерзкого типа, который больше шлялся по кабакам. Удивительно, какой нездоровой и гнилой становится вся жизнь, едва лишь что-то одно в ней оказывается не совсем в порядке. Запачкаешься в одном месте, и весь ты уже нечистый... В письмах Мартички ко мне чувствовалась какая-то неуверенность и запуганность, словно она не знала, что писать. А я, конечно, копался в этих письмах и все искал чего-то между строк. И вот однажды получаю от нее письмо, на конверте адрес: «Франтишкеу Матесу, следователю» и так далее. Вскрываю письмо, вынимаю листок и вижу обращение: «Дорогой Артур!»...

У меня и руки опустились. Вот оно, наконец! Так это и бывает: человек напишет несколько писем и перепутает конверты. Дурацкая случайность, а, Мартичка? Знаешь, мне даже стало жаль жену, что она так попалась.

Представь себе, Тоник, моим первым побуждением было вернуть Мартичке письмо, предназначенное... этому Артуру. При любых других обстоятельствах я так бы и поступил, но ревность — это гнусная и грязная страсть. Дружище, я прочитал это письмо и покажу тебе его, потому что с тех пор не расстаюсь с ним. Вот слушай:

*"Милый Артур !*

*Не сердитесь, что я вам долго не отвечала, но я все тревожилась о Франци (это я, понимаешь?), по-моему что от него долго не было писем. Я знаю, что он очень занят, но когда долго не получаешь весточки от мужа, то ходишь словно сама не своя. Вы, Артур, этого не понимаете. В следующем месяце Франци приедет сюда, приехали бы и вы тоже!*

*Он мне писал, что сейчас расследует какое-то очень интересное дело, но не сообщил подробностей. Я думаю, что это преступление Гуго Мюллера. Меня оно очень интересует. Очень жаль, что вы с Франци теперь не встречаетесь, но это только потому, что у него много работы. Будь у вас прежние отношения, вы могли бы иногда вытаскивать его в компанию или на автомобильную прогулку. Вы всегда были так внимательны к нам, вот и теперь не забываете, хотя, к сожалению, знакомство разладилось. Франци стал какой-то нервный и странный.*

*Вы даже не написали мне, как поживает ваша девушка. Франци жалуется, что в Праге жарчища. Надо бы ему приехать сюда отдохнуть, а он наверняка день и ночь сидит на службе. А когда вы поедете к морю? Надеюсь, ваша девушка поедет с вами? Вы и не представляете себе, как для нас, женщин, трудна разлука с любимым человеком.*

*Дружески вас приветствую,*

*Марта Матесова".*

Что скажешь, а, Тоник? Конечно, письмо не очень-то умное, просто даже мало интересное и написало безо всякого блеска. Но, друг мой, какой свет оно бросило на Мартичку и ее отношение к этому бедняге Артуру. Я никогда бы не поверил, если бы это говорила она сама. Но в руках у меня было такое непроизвольное, такое бесспорное доказательство. Вот, видишь, подлинная и бесспорная правда открывается только случайно! Мне хотелось плакать от радости... и от стыда за свою глупую ревность!

Что я сделал потом? Связал шпагатом все документы по делу Гуго Мюллера, запер их в письменный стол и через день был во Франтишковых Лазнях. Мартичка, увидев меня, зарделась и смутилась, как девочка; вид у нее был такой, словно она бог весть что натворила. Я — ни гугу.

— Франци, — спросила она немного погодя, — ты получил мое письмо?

— Какое письмо? — удивился я. — Ты мне пишешь чертовски редко.

Мартичка оторопело уставилась на меня и с облегчением вздохнула.

— Наверное, я забыла его послать, — сказала она и, порывшись в сумочке, извлекла слегка помятый листок, начинавшийся словами «Милый Франци!» Я мысленно улыбнулся: видимо, Артур уже вернул ей это письмо.

Больше на эту тему не было сказано ни слова. Я, разумеется, стал рассказывать Мартичке о Гуго Мюллере, который ее так интересовал. Она, наверное, и поныне уверена, что я так и не получил от нее никакого письма.

Вот и все. С тех пор мы живем мирно. Не идиот ли я был, скажи, пожалуйста, что так дико ревновал жену? Теперь я, конечно, стараюсь вознаградить ее. Только после того письма я понял, как она заботится обо мне, бедняжка. Ну, вот, я и рассказал тебе все. Знаешь, собственной глупости человек стыдится даже больше, чем греха.

А весь этот случай — классический пример того, каким бесспорным доказательством является полнейшая и неожиданная случайность.

Приблизительно в это же время молодой человек, именуемый Артуром, сказал Мартичке:

— Ну как, девочка, помогло то письмо?

— Какое, мой дорогой?

— То, что ты послала мужу как бы по рассеянности.

— Помогло, — сказала Марта и задумалась. — Знаешь, мой мальчик, мне даже стыдно, что теперь Франци так беспредельно верит мне. С тех пор он со мной так добр. А то письмо он все еще носит на груди. — Марта вздрогнула. — Вообще говоря... это ужасно, что я его так обманываю, а?

Но Артур был другого мнения. По крайней мере он сказал, что все это вовсе не так ужасно.

## Эксперимент профессора Роусса

Среди присутствующих были: министры внутренних дел и юстиции, начальник полиции, несколько депутатов парламента и высших чиновников, видные юристы и ученые и, разумеется, представители печати — без них ведь дело никогда не обойдется.

— Джентльмены! — начал профессор Гарвардского университета Роусс, знаменитый американец чешского происхождения. — Эксперимент, который я вам... э-э... буду показать, основан на исследованиях ряда моих ученых коллег и предшественников. Таким образом, indeed [*право же (англ.)* ], мой эксперимент не является каким-нибудь откровением Это... э-э... really... как говорится, новинка с бородой, — профессор просиял, вспомнив, как звучит по-чешски это сравнение — Я, собственно, разработал лишь метод практического применения некоторых теоретических открытий. Прошу присутствующих криминалистов судить о моих experiences с точки зрения их практических критериев. Well.

Итак, мой метод заключается в следующем: я произношу слово, а вы должны тотчас же произнести другое слово, которое вам придет в этот момент в голову, даже если это будет чепуха, nonsens, вздор. В итоге я, на основании ваших слов, расскажу вам, что у вас на уме, о чем вы думаете и что скрываете. Понимаете? Я опускаю теоретические объяснения и не буду говорить вам об ассоциативном мышлении, заторможенных рефлексах, внушении и прочем. Я буду сказать кратко: при опыте вы должны полностью выключить волю и рассудок. Это даст простор подсознательным ассоциациям, и благодаря им я смогу проникнуть в... э-э... Well, what's on the bottom of your mind...

— В глубины вашего сознания, — подсказал кто-то.

— Вот именно! — удовлетворенно подтвердил Роусс. — Вы должны automatically произносить все, что вам приходит в данный момент в голову без всякий control. Моей задачей будет анализировать ваши представления. That's all. Свой опыт я проделаю сначала на уголовном случае... э-э... на одном преступнике, а потом на ком-нибудь из присутствующих. Well, начальник полиции сейчас охарактеризует нам доставленного сюда преступника. Прошу вас, господин начальник.

Начальник полиции встал.

— Господа, человек, которого вы сейчас увидите, — слесарь Ченек Суханек, владелец дома в Забеглице. Он уже неделю находится под арестом по подозрению в убийстве шофера такси Иозефа Чепелки, бесследно исчезнувшего две недели назад Основания для подозрения следующие: машина исчезнувшего Чепелки найдена в сарае арестованного Суханека. На рулевом колесе и под сидением шофера — следы человеческой крови. Арестованный упорно запирается, заявляя, что купил авто у Чепелки за шесть тысяч, так как хотел стать шофером такси. Установлено: исчезнувший Чепелка действительно говорил, что думает бросить свое ремесло, продать машину и наняться куда-нибудь шофером. Однако его до сих пор нигде не нашли. Поскольку больше никаких данных нет, арестованный Суханек должен быть передан в подследственную тюрьму в Панкраце... Но я получил разрешение, чтобы наш прославленный соотечественник профессор Ч.Д. Роусс произвел над ним свой эксперимент. Итак, если господин профессор пожелает...

— Well! — сказал профессор, усердно делавший пометки в блокноте. — Пожалуйста, пустите его идти сюда.

По знаку начальника полиции полицейский ввел Ченека Суханека, мрачного субъекта, на лице которого было написано:

«Подите вы все к..., меня голыми руками не возьмешь». Видно было, что Суханек твердо решил стоять на своем.

— Подойдите, — строго сказал профессор Ч.Д. Роусс. — Я не буду вас допрашивать. Я только буду произносить слова, а вы должны в ответ говорить первое слово, которое вам придет в голову. Понятно? Итак, внимание! Стакан.

— Дерьмо! — злорадно произнес Суханек.

— Слушайте, Суханек! — быстро вмешался начальник полиции. — Если вы не будете отвечать как следует, я велю отвести вас на допрос, и вы пробудете там всю ночь. Понятно? Заметьте это себе. Ну, начнем сначала.



— Стакан, — повторил профессор Роусс.  
— Пиво, — проворчал Суханек.  
— Вот это другое дело, — сказала знаменитость. — Теперь правильно.  
Суханек подозрительно покосился на него. Не ловушка ли вся эта затея?  
— Улица, — продолжал профессор.  
— Телеги, — нехотя отозвался Суханек.  
— Надо побыстрей. Домик.  
— Поле.  
— Токарный станок.  
— Латунь.  
— Очень хорошо.

Суханек, видимо, уже ничего не имел против такой игры.

— Мамаша.  
— Тетка.  
— Собака.  
— Будка.  
— Солдат.  
— Артиллерист.

Переключка становилась все быстрее. Суханека это забавляло. Похоже на игру в карты, и о чем только не вспомнишь!

— Дорога, — бросил ему Ч.Д. Роусс в стремительном темпе.  
— Шоссе.  
— Прага.  
— Бероун.  
— Спрятать.  
— Зарыть.  
— Чистка.  
— Пятна.  
— Тряпка.  
— Мешок.  
— Лопата.  
— Сад.  
— Яма.  
— Забор.  
— Труп!

Молчание.

— Труп! — настойчиво повторил профессор. — Вы зарыли его под забором. Так?

— Ничего подобного я не говорил! — воскликнул Суханек.

— Вы зарыли его под забором у себя в саду, — решительно повторил Роусс. — Вы убили Чепелку по дороге в Бероун и вытерли кровь в машине мешком. Все ясно.

— Неправда! — кричал Суханек. — Я купил такси у Чепелки. Я не позволю взять себя на пушку!

— Помолчите! — сказал Роусс. — Прошу послать полисменов на поиски трупа. А остальное уже не мое дело. Уведите этого человека. Обратите внимание, джентльмены: весь опыт занял семнадцать минут. Это очень быстро, потому что казус пустяковый. Обычно требуется около часа. Теперь попрошу ко мне кого-нибудь из присутствующих. Я повторю опыт. Он продлится довольно долго. Я ведь не знаю его secret, как это назвать?

— Тайну, — подсказал кто-то из аудитории.

— Тайну! — обрадовался наш выдающийся соотечественник. — Я знаю, это одно и то же. Опыт займет у нас много времени, прежде чем испытуемый раскроет нам свой характер, прошлое и самые сокровенные ideas...

— Мысли! — подсказали из публики.

— Well. Итак, прошу, господа, кто хочет подвергнуться опыту?

Наступила пауза. Кто-то хихикнул, но никто не шевелился.

— Прошу, — повторил профессор Роусс. — Ведь это не больно.

— Идите, коллега, — шепнул министр внутренних дел министру юстиции.

— Иди ты как представитель нашей партии, — подталкивали друг друга депутаты.

— Вы — директор департамента, вы и должны пойти, — понукал чиновник своего коллегу из другого министерства.

Возникла атмосфера неловкости: никто из присутствующих не вставал.

— Прошу вас, джентльмены, — в третий раз повторил американский ученый. — Надеюсь, вы не боитесь, чтобы были открыты ваши сокровенные мысли?

Министр внутренних дел обернулся к задним рядам и прошепел:

— Ну, идите же кто-нибудь.

В глубине аудитории кто-то скромно кашлянул и встал. Это был тощий, пожилой субъект с ходившим от волнения кадыком.

— Я... г-м-м... — застенчиво сказал он, — если никто... то я, пожалуй, разрешу себе...

— Подойдите! — перебил его американец. — Садитесь здесь. Говорите первое, что вам придет в голову. Задумываться и размышлять нельзя, говорите *mechanically*, бессознательно. Поняли?

— Да-с, — поспешно ответил испытуемый, видимо смущенный вниманием такой высокопоставленной аудитории. Затем он откашлялся и испуганно замигал, как гимназист, держащий экзамен на аттестат зрелости.

— Дуб, — бросил профессор.

— Могучий, — прошептал испытуемый.

— Как? — переспросил профессор, словно не поняв.

— Лесной великан, — стыдливо пояснил человек.

— Ага, так. Улица.

— Улица... Улица в торжественном убранстве.

— Что вы имеете в виду?

— Какое-нибудь празднество. Или погребение.

— А! Ну, так надо было просто сказать «празднество». По возможности одно слово.

— Пожалуйста...

— Итак. Торговля.

— Процветающая. Кризис нашей коммерции. Торговцы славой.

— Гм... Учреждение.

— Какое, разрешите узнать?

— Не все ли равно! Говорите какое-нибудь слово. Быстро!

— Если бы вы изволили сказать «учреждения»...

— Well, учреждения.

— Соответствующие! — радостно воскликнул человек.

— Молот.

— ... и клещи. Вытягивать ответ клещами. Голова несчастного была разmozжена клещами.

— Curious [*Любопытно*], — проворчал ученый. — Кровь!

— Алый, как кровь. Невинно пролитая кровь. История, написанная кровью.

— Огонь!

— Огнем и мечом. Отважный пожарник. Пламенная речь. Mene tekel. [*Mene tekel — точнее, «Mane tekel fares».* — Согласно библейскому преданию, таинственная огненная надпись, предвещавшая гибель жестокого царя Вавилонии Валтасара и его династии. В переносном смысле — предсказание несчастья и возмездия.]

— Станный случай, — озадаченно сказал профессор. — Повторим еще раз. Слушайте, вы должны реагировать лишь на самое первое впечатление. Говорите то, что *automatically* произносят ваши губы, когда вы слышите мои слова. Go on. Рука.

— Братская рука помощи. Рука, держащая знамя. Крепко сжатый кулак. Не чист на руку. Дать по рукам.

— Глаза.

— Завязанные глаза Фемиды. Бревно в глазу. Открыть глаза на истину. Очевидец. Пускать пыль в глаза. Невинный взгляд дитяти. Хранить как зеницу ока.

— Не так много. Пиво.

— Настоящее пльзеньское. Дурман алкоголя.

— Музыка.

— Музыка будущего. Заслуженный ансамбль. Мы — народ музыкантов. Манящие звуки. Концерт держав. Мирная свирель. Боевые фанфары. Национальный гимн.

— Бутылка.

— С серной кислотой. Несчастливая любовь. В ужасных мучениях скончалась на больничной койке.

— Яд.

— Напоенный ядом и желчью. Отравление колодца.

Профессор Роусс почесал затылок.

— Never heard that [*Никогда не встречал ничего подобного...*]... Прошу вас повторить. Обращаю ваше внимание, джентльмены, на то, что всегда надо начинать с самых plain [*простых*], заурядных понятий, чтобы выяснить интересы испытуемого, его profession, занятие. Так, дальше. Счет.

— Баланс истории. Свести с врагами счеты. Поживиться на чужой счет.

— Гм... Бумага.

— Бумага краснела от стыда, — обрадовался испытуемый. — Ценные бумаги. Бумага все стерпит.

— Bless you [*Благодарю вас*], — кисло сказал профессор. — Камень.

— Побить камнями. Надгробный камень. Вечная память, — резво заговорил испытуемый. — Ave, anima pia [*Привет тебе, благочестивая душа (лат.)*].

— Повозка.

— Триумфальная колесница. Колесница Джаггернаута [*Колесница Джаггернаута. — Джаггернаут (Джанатха) — одно из воплощений индийского бога Вишну. Во время религиозных празднеств его изображение жрецы вывозили на громадной шестнадцатиколесной колеснице*]. Карета скорой помощи. Разукрашенный грузовик с мимической труппой.

— Ага! — воскликнул ученый. — That's it! [*Вот оно что!*] Горизонт!

— Пасмурный, — с видимым удовольствием откликнулся испытуемый. — Тучи на нашем политическом горизонте. Узкий кругозор. Открывать новые горизонты.

— Оружие.

— Отравленное оружие. Вооруженный до зубов. С развевающимися знаменами. Нанести удар в спину. Вероломное нападение, — радостно бубнил испытуемый. — Пыл битвы. Избирательная борьба.

— Стихия.

— Разбушевавшаяся. Стихийный отпор. Злокозненная стихия. В своей стихии.

— Довольно! — остановил его профессор. — Вы журналист, а?

— Совершенно верно, — учтиво отозвался испытуемый. — Я репортер Вашатко. Тридцать лет работаю в газете.

— Благодарю, — сухо поклонился наш знаменитый американский соотечественник. — Finished, gentlemen. [*Заканчиваю на этом, джентльмены*] Анализом представлений этого человека мы бы установили, что... м-м, что он журналист. Я думаю, нет смысла продолжать. It would only waist our time. So sorry, gentlemen! [*Не будем зря тратить время. Простите, джентльмены!*]

— Смотрите-ка! — воскликнул вечером репортер Вашатко, просматривая редакционную почту. — Полиция сообщает, что труп Чепелки найден. Зарыт под забором в

саду у Суханека и обернут в окровавленный мешок! Этот Роусс — молодчина! Вы бы не поверили, коллега: я и не заикался о газете, а он угадал, что я журналист. «Господа, говорит, перед вами выдающийся, заслуженный репортер...» Я написал в отчете о его выступлении: «В кругах специалистов выводы нашего прославленного соотечественника получили высокую оценку». Постойте, это надо подправить. Скажем так: «В кругах специалистов интересные выводы нашего прославленного соотечественника получили заслуженно высокую оценку». Вот теперь хорошо!

### Пропавшее письмо

— Боженка, — сказал министр своей супруге, накладывая себе обильную порцию салата. — Сегодня днем я получил письмо, которое тебя заинтересует... Придется представить его на рассмотрение кабинета. Если оно станет достоянием гласности, одна политическая партия сядет в изрядную лужу. Да вот, ты прочти сама, — министр пошарил сперва в одном, потом в другом внутреннем кармане. — Постой, куда же я его... — пробормотал он, снова ощупывая левый карман на груди, потом положил вилку и стал рыться во всех остальных.

Внимательный наблюдатель заметил бы при этом, что у министров такое же несчетное количество карманов во всех частях костюма, как и у простых смертных. Там лежат ключи, карандаши, блокноты, вечерняя газета, портмоне, служебные бумаги, часы, зубочистка, нож, расческа, старые письма, носовой платок, спички, использованные билеты в кино, вечное перо и многие другие предметы повседневного обихода. Наблюдатель убедился бы в том, что и министр, ощупывая карманы, бормочет: «И куда ж я его дел?!», «Ах я безголовый!», «Погоди-ка...» — в общем, те же фразы, что произносит в таких случаях любой другой обыкновенный смертный. Но супруга министра не уделила должного внимания этой процедуре, а сказала, как всякая жена:

— Да ты ешь, а то остынет.

— Ладно, — сказал министр, рассовывая обратно содержимое карманов. — Видимо, я оставил письмо на столе, в кабинете. Я его там читал. Представь себе... — начал он бодро, тыкая вилкой в жаркое. — Представь себе, кто-то прислал мне оригинал письма от... Одну минуточку, — с беспокойством прервал он сам себя и встал. — Все-таки я загляну в кабинет. Должно быть, я оставил его на столе.

И он исчез. Когда он не вернулся и через десять минут, супруга пошла в кабинет. Министр сидел посреди комнаты на полу и рылся в бумагах и письмах, которые смахнул с письменного стола.

— Разогреть тебе ужин? — несколько сурово осведомилась супруга.

— Сейчас, сейчас... — рассеянно пробормотал министр. — Скорее всего, я засунул его в бумаги. Странно, что оно никак не находится. Это нелепо, ведь оно где-то тут...

— Поешь, а потом ищи, — посоветовала жена.

— Сейчас, сейчас! — раздраженно отозвался министр. — Вот только найду. Этаким желтый конверт... Ах, какой я безголовый! — И он снова принялся рыться в бумагах. — Я читал это письмо здесь, у стола, и не выходил из кабинета, пока меня не позвали ужинать... Куда же оно могло деться?

— Я пришлю тебе ужин сюда, — решила жена и оставила министра на полу, среди бумаг. В доме воцарилась тишина, только за окном шумели деревья и падали звезды. В полночь Божена стала зевать и пошла на цыпочках заглянуть в кабинет.

Министр, без пиджака, потный и взлохмаченный, стоял посреди кабинета, где все было перевернуто вверх дном: пол завален бумагами, мебель отодвинута от стен, ковры брошены в угол. На письменном столе стоял нетронутый ужин.

— О господи, что ты делаешь? — ужаснулась министерша.

— Ах, отстань, пожалуйста! — рассердился супруг. — Что ты пристаешь ко мне каждые пять минут? — Впрочем, он тут же сообразил, что не прав, и произнес уже

спокойнее: — Искать надо систематически, понимаешь? Осмотреть участок за участком. Где-то оно должно все-таки быть, ведь сюда никто не входил, кроме меня. Если бы не такая чертова уйма всяких бумаг!

— Хочешь, я тебе помогу? — сочувственно предложила супруга.

— Нет, нет, ты только наделаешь у меня беспорядок! — замахал руками министр, стоя среди ужаснейшего хаоса. — Иди спать, я сейчас...

В три часа утра министр, тяжело вздыхая, пошел спать.

— Быть не может, — бормотал он. — Письмо в желтом конверте пришло с пятичасовой почтой. Я читал его здесь, сидя за столом, где работал до восьми. В восемь я пошел ужинать и уже минут через пять побежал искать письмо. За эти пять минут никто не мог...

Тут министр вскочил с постели и устремился в кабинет. Ну, конечно, окна открыты! Но ведь кабинет во втором этаже и к тому же окна выходят на улицу... Нет, в окно никто не мог влезть! Но все-таки надо будет утром проверить и такую гипотезу.

Министр снова уложил свои телеса в постель. Ему вдруг вспомнилось, как он однажды где-то читал, что письмо всего незаметнее, если оно лежит прямо перед носом. «Черт подери, как же я не подумал об этом!» Он снова побежал в кабинет поглядеть, что именно там лежит под носом, но обнаружил лишь кучи бумаг, раскрытые ящики письменного стола и весь безнадежный развал, оставшийся после долгих поисков. Чертыхаясь и вздыхая, министр вернулся на свое ложе, но уснуть не смог.

Так он дотерпел до шести утра, а в шесть уже кричал в телефон, требуя, чтобы разбудили министра внутренних дел «по неотложному делу, понимаете, почтенный?» Наконец его соединили с министром, и он взволнованно заговорил:

— Алло, коллега, пожалуйста, немедленно пошлите ко мне трех или четырех ваших способнейших людей... ну да, сыщиков... и, разумеется, надежнейших. У меня пропал важный документ... Да, коллега, видите ли, совершенно непостижимый случай... Да, буду их ждать... Что, ничего не трогать, оставить все, как есть?... Вы считаете, что так нужно?... Ладно... Украден?... Не знаю. Конечно, все это строго конфиденциально, никому ни слова!... Благодарю вас и извините, что... Всего хорошего, коллега!

В восемь часов утра в дом министра прибыло целых семеро субъектов в котелках. Это и были «способнейшие и надежнейшие люди».

— Так вот, поглядите, господа, — сказал он, вводя надежнейшую семерку в свой кабинет, — здесь, в этой комнате, я вчера оставил некий... э-э... весьма важный документ... м-м... в желтом конверте... адрес написан фиолетовыми чернилами...

Один из способнейших понимающе присвистнул и сказал с восхищением знатока:

— Ишь чего он тут натворил! Ах, бродяга!

— Кто бродяга? — смутился министр.

— Этот вор, — ответил сыщик, критически оглядывая хаос в кабинете.

Министр слегка покраснел.

— Это... м-м... это, собственно, я сам немного разбросал бумаги, когда искал документ. Дело в том, господа, что... э-э... в общем, не исключено, что я куда-нибудь засунул или потерял этот документ. Точнее говоря, ему негде быть, кроме как в этой комнате. Я полагаю... я даже прямо утверждаю, что надо систематически обыскать весь кабинет. Это, господа, ваша специальность. Сделайте все, что в человеческих силах.

В человеческих силах немалое, а потому трое способнейших, запершись в кабинете, начали там систематический обыск; двое взялись за допрос кухарки, горничной, привратника и шофера, а последняя пара отправилась куда-то в город, чтобы, как они сказали, предпринять необходимое расследование.

К вечеру того же дня трое из способнейших заявили, что полностью исключено, чтобы пропавшее письмо находилось в кабинете господина министра. Ибо они даже вынимали картины из рам, разбирали по частям мебель и перенумеровали каждый листок бумаги, но письма не нашли. Двое других установили, что в кабинет входила только служанка, которая,



по приказанию хозяйки дома, отнесла туда ужин, министр в это время сидел на полу среди бумаг. Поскольку не исключено, что служанка при этом могла унести письмо, было выяснено, кто ее любовник. Им оказался монтер с телефонной станции, за которым теперь незаметно следит один из семи «способнейших». Последние два ведут расследование «где-то там».

Ночью министр никак не мог уснуть и все твердил себе «Письмо в желтом конверте пришло в пять часов, я читал его, сидя за столом, и никуда не отлучался до самого ужина. Следовательно, письмо должно было остаться в кабинете, а его там нет... экая гнетущая, прямо-таки немыслимая загадка!» Министр принял снотворное и проспал до утра, как сурок.

Утром он обнаружил, что около его дома, неведомо зачем, околачивается один из способнейших. Остальные, видимо, вели расследование по всей стране.

— Дело движется, — сказал ему по телефону министр внутренних дел. — Вскоре, я полагаю, мне доложат о результатах. Судя по тому, что вы, коллега, говорили о содержании письма, нетрудно угадать, кто может быть заинтересован в нем... Если бы мы могли устроить обыск в одном партийном центре или в некоей редакции, мы бы узнали несколько больше. Но, уверяю вас, дело движется.

Министр вяло поблагодарил... Он был очень расстроен, и его клонило ко сну. Вечером он почти не разговаривал с женой и рано лег спать.

Вскоре после полуночи — была ясная, лунная ночь — министерша услышала шаги в библиотеке. С отвагой, присущей женам видных деятелей, она на цыпочках подошла к двери в эту комнату. Дверь стояла настежь, один из книжных шкафов был открыт. Перед ним стоял министр в ночной рубашке и, тихо бормоча что-то, с серьезным видом перелистывал какой-то толстый том.

— О господи, Владя, что ты тут делаешь? — воскликнула Божена.

— Надо кое-что посмотреть, — неопределенно ответил министр.

— В темноте? — удивилась супруга.

— Я и так вижу, — заверил ее муж и сунул книгу на место. — Покойной ночи! — сказал он вполголоса и медленно пошел в спальню.

Божена покачала головой. Бедняга, ему не спится из-за этого проклятого письма!

Утром министр встал румяный и почти довольный.

— Скажи, пожалуйста, — спросила его супруга, — что ты там ночью искал в книжном шкафу?

Министр положил ложку и уставился на жену.

— Я? Что ты выдумываешь! Я не был в библиотеке. Я же спал, как убитый.

— Но я с тобой там разговаривала, Владя! Ты перелистывал какую-то книгу и сказал, что тебе надо что-то посмотреть

— Не может быть! — недоверчиво отозвался министр. — Тебе приснилось, наверное. Я ни разу не просыпался ночью.

— Ты стоял у среднего шкафа, — настаивала жена, — и даже света не зажег. Перелистывал в потемках какую-то книгу и сказал: «Я и так вижу».

Министр схватился за голову.

— Жена! — воскликнул он сдавленным голосом. — Не лунатик ли я?... Нет, оставь, тебе просто, видно, померещилось... — Он немного успокоился. — Ведь я не сомнамбула!

— Это было в первом часу ночи, — настаивала Божена и добавила немного раздраженно. — Уж не хочешь ли ты сказать, что я ненормальная?

Министр задумчиво помешивал чай.

— А ну-ка, — вдруг сказал он, — покажи мне, где это было.

Жена повела его к книжному шкафу.

— Ты стоял тут и поставил какую-то книгу вот сюда, на эту полку.

Министр смущенно покачал головой; всю полку занимал внушительный многотомный

«Сборник законов и узаконений».

— Значит, я совсем спятил, — пробормотал он, почесав затылок, и почти машинально взял с полки один том, поставленный вверх ногами. Книга раскрылась у него в руках, заложённая желтым конвертом с адресом, написанным фиолетовыми чернилами...

— Подумать только, Божена, — удивлялся министр, — я готов был присягнуть, что никуда не отлучался из кабинета! Но теперь я смутно припоминаю, что, прочтя это письмо, я сказал себе: надо заглянуть в закон тысяча девятьсот двадцать третьего года. И вот я принес этот том и положил его на письменный стол, чтобы сделать выписки. Но книга все время закрывалась, и я заложил ее конвертом. А потом, очевидно, захлопнул том и машинально отнес его на место... Но почему же я бессознательно, во сне, пошел взглянуть именно на эту книгу?... Гм... ты лучше никому не рассказывай об этом... Подумают бог весть что... Всякие эти психологические загадки производят, знаешь ли, плохое впечатление...

Через минуту министр бодро звонил по телефону своему коллеге из министерства внутренних дел:

— Алло, коллега, я насчет пропавшего письма... Нет, нет, вы не могли напасть на след, оно у меня в руках!... Что?... Как я его нашел?... Этого я вам не скажу, коллега. Есть, знаете ли, такие методы, которые и в вашем министерстве еще неизвестны... Да, да, я знаю, что ваши люди сделали все возможное. Они не виноваты, что не умеют... Не будем больше говорить об этом... Пожалуйста, пожалуйста! Привет, дорогой коллега!

### **Похищенный документ № 139/VII отд. "С"**

В три часа утра затрещал телефон в гарнизонной комендатуре.

— Говорит полковник генерального штаба Гампл. Немедленно пришлите ко мне двух чинов военной полиции и передайте подполковнику Врзалу, — ну да, из контрразведки, — все это вас не касается, молодой человек! — чтобы он сейчас же прибыл ко мне. Да, сейчас же, ночью. Да, пускай возьмет машину. Да побыстрее, черт вас возьми! — и повесил трубку.

Через час подполковник Врзал был у Гампла — где-то у черта на куличках, в районе загородных особняков. Его встретил пожилой, очень расстроенный господин в штатском, то есть в одной рубашке и брюках.

— Подполковник, произошла пренеприятная история. Садись, друг. Пренеприятная история, дурацкое свинство, нелепая оплошность, черт бы ее побрал. Представь себе: позавчера начальник генерального штаба дал мне один документ и говорит: «Гампл, обработай это дома. Чем меньше людей будет знать, тем лучше. Сослуживцам ни гугу! Даю тебе отпуск, марш домой и за дело. Документ береги как зеницу ока. Ну и отлично».

— Что это был за документ? — осведомился подполковник Врзал.

Полковник с минуту колебался.

— Ладно, — сказал он, — от тебя не скрою. Он был из отделения "С".

— Ах, вот как! — произнес подполковник и сделал необыкновенно серьезную мину. — Ну, дальше.

— Так вот, видишь ли, — продолжал удрученный полковник.

— Вчера я работал с ним целый день. Но куда деть его на ночь, черт побери? Запереть в письменный стол? Не годится. Сейфа у меня нет. А если кто-нибудь узнает, что документ у меня, пиши пропало. В первую ночь я спрятал документ к себе под матрац, но к утру он был измят, словно на нем кабан валялся...

— Охотно верю... — заметил Врзал.

— Что поделаешь, — вздохнул полковник. — Жена еще полнее меня. На другую ночь жена говорит: «Давай положим его в жестяную коробку из-под макарон и уберем в кладовку. Я кладовку всегда запираю сама и ключ беру к себе». У нас, знаешь ли, служанка — страшная обжора. А в кладовой никто не вздумает искать документ, не правда ли? Этот план мне понравился.

— В кладовой простые или двойные рамы? — перебил подполковник

— Тысяча чертей! — воскликнул полковник. — Об этом-то я и не подумал. Простые! А я все думал о сазавском случае [*случай, произошедший на даче в Сазаве. Группа фашиствующих хулиганов совершила нападение на служащего одного министерства и выкрала у него секретные документы, касающиеся судебного дела фашиста, бывшего генерала Гайды*] и всякой такой чепухе и забыл поглядеть на окно. Этакая чертовская неприятность.

— Ну, а дальше что? — спросил подполковник.

— Дальше? Ясно, что было дальше! В два часа ночи жена слышит, как внизу визжит служанка. Жена вниз, в чем дело? Та ревет: «В кладовке вор». Жена побежала за ключами и за мной, я бегу с револьвером вниз. Подумай, какая подлая штука — окно в кладовке взломано, жестянки с документом нет, и вора след простыл. Вот и все, — вздохнул полковник.

Врзал постучал пальцами по столу.

— А было кому-нибудь известно, что ты держишь этот документ дома?

Несчастный полковник развел руками.

— Не знаю. Эх, друг мой, эти проклятые шпионы все пронюхают... — Тут, вспомнив характер работы подполковника Врзала, он слегка смутился. — То есть... я хотел сказать, что они очень ловкие люди. Я никому не говорил о документе, честное слово. А главное, — добавил полковник торжествуя, — уж во всяком случае никто не мог знать, что я положил его в жестянку от макарон.

— А где ты клал документ в жестянку? — небрежно спросил подполковник.

— Здесь, у этого стола.

— Где стояла жестянка?

— Погоди-ка, — стал вспоминать полковник. — Я сидел вот тут, а жестянка стояла передо мной.

Подполковник оперся о стол и задумчиво поглядел в окно. В предрассветном сумраке напротив вырисовывались очертания виллы.

— Кто там живет? — спросил он хмуро.

Полковник стукнул кулаком по столу.

— Тысяча чертей, об этом я не подумал. Постой, там живет какой-то еврей, директор банка или что-то в этом роде. Черт побери, теперь я кое-что начинаю понимать, Врзал, кажется, мы напали на след!

— Я хотел бы осмотреть кладовку, — уклончиво сказал подполковник.

— Ну, так пойдем. Сюда, сюда, — услужливо повел его полковник. — Вот она. Вон на той верхней полке стояла жестянка. Мари! — заорал полковник. — Нечего вам тут торчать! Идите на чердак или в подвал.

Подполковник надел перчатки и влез на подоконник, который был довольно высоко от пола.

— Вскрыто долотом, — сказал он, осмотрев раму. — Рама, конечно, из мягкого дерева, любой мальчишка шутя откроет.

— Тысяча чертей! — удивлялся полковник. — Черт бы побрал тех, кто делает такие поганые рамы!

На дворе за окном стояли два солдата.

— Это из военной полиции? — осведомился подполковник Врзал. — Отлично. Я еще пойду взгляну снаружи. Господин полковник, должен тебе посоветовать без вызова не покидать дом.

— Разумеется, — согласился полковник. — А... собственно, почему?

— Чтобы вы в любой момент были на месте, в случае, если... Эти двое часовых, конечно, останутся здесь.

Полковник запыхтел и проглотил какую-то невысказанную фразу.

— Понимаю. Не выпьешь ли чашку кофе? Жена сварит.

— Сейчас не до кофе, — сухо ответил подполковник. — О краже документа никому не

говори, пока... пока тебя не вызовут. И еще вот что: служанке скажи, что вор украл только консервы, больше ничего.

— Но послушай! — в отчаянии воскликнул полковник. — Ведь ты найдешь документ, а?

— Постараюсь, — сказал подполковник и официально откланялся, щелкнув каблуками.

Все утро полковник Гампл терзался мрачными мыслями. То ему представлялось, как два офицера приезжают, чтобы отвезти его в тюрьму. То он старался представить себе, что делает сейчас подполковник Врзал, пустивший в ход весь громадный секретный аппарат контрразведки. Потом ему мерещился переполох в генеральном штабе, и полковник стонал от ужаса.

— Карел! — в двадцатый раз говорила жена (она давно уже на всякий случай спрятала револьвер в сундук служанки). — Съел бы ты что-нибудь.

— Оставь меня в покое, черт побери! — огрызнулся полковник. — Наверно, нас видел тот тип из виллы напротив...

Жена вздыхала и уходила на кухню поплакать. В передней позвонили. Полковник встал и выпрямился, чтобы с воинским достоинством принять офицеров, пришедших арестовать его. («Интересно, кто это будет?» — рассеянно подумал он.) Но вместо офицеров вошел рыжий человек с котелком в руке и оскалил перед полковником беличьи зубы.

— Разрешите представиться. Я — Пиштора из полицейского участка.

— Что вам надо? — рявкнул полковник и исподволь переменял позу со «смирно» на «вольно».

— Говорят, у вас обчистили кладовку, — осклабился Пиштора с конфиденциальным видом. — Вот я и пришел.

— А вам какое дело? — отрезал полковник.

— Осмелюсь доложить, — просиял Пиштора, — что это наш участок. Служанка ваша говорила утром в булочной, что вас обокрали. Вот я и говорю начальству: «Господин полицейский комиссар, я туда загляну».

— Не стоило беспокоиться, — пробурчал полковник. — Украдена всего лишь жестянка с макаронами. Бросьте это дело.

— Удивительно, — сказал сыщик Пиштора, — что не сперли ничего больше.

— Да, очень удивительно, — мрачно согласился полковник. — Но вас это не касается.

— Наверное, ему кто-нибудь помешал, — просиял Пиштора, осененный внезапной догадкой.

— Итак, всего хорошего, — отрубил полковник.

— Прошу извинения, — недоверчиво улыбаясь, сказал Пиштора. — Мне надо бы сперва осмотреть эту кладовку.

Полковник хотел было закричать на него, но смирился.

— Пойдемте, — сказал он неохотно и повел человека к кладовке.

Пиштора с интересом оглядел кладовку.

— Ну да, — сказал он удовлетворенно, — окно открыто долотом. Это был Пепик или Андрлик.

— Кто, кто? — быстро спросил полковник.

— Пепик или Андрлик. Их работа. Но Пепик сейчас, кажется, сидит. Если было бы выдавлено стекло, это мог бы быть Дундр, Лойза, Новак, Госичка или Климент. Но здесь, судя по всему, работал Андрлик.

— Смотрите не ошибитесь, — пробурчал полковник.

— Вы думаете, что появился новый специалист по кладовкам? — спросил Пиштора и сразу стал серьезным. — Едва ли. Собственно говоря, Мертл тоже иногда работает долотом, но он не занимается кладовыми. Никогда. Он обычно взлезает в квартиру через окно уборной и берет только белье. — Пиштора снова оскалил свои беличьи зубы. — Ну так я забегу к

Андрлику.

— Кланяйтесь ему от меня, — проворчал полковник. «Как потрясающе тупы эти полицейские сыщики, — думал он, оставшись наедине со своими мрачными мыслями. — Ну, хоть бы поинтересовался оттисками пальцев или следами, в этом был бы какой-то криминалистический подход. А так идиотски браться за дело! Куда нашей полиции до международных шпионов! Хотел бы я знать, что сейчас делает Врзал...»

Полковник не удержался от соблазна позвонить Врзалу. После получаса бурных объяснений с телефонистками он, наконец, был соединен с подполковником.

— Алло! — начал он медовым голосом. — Говорит Гампл. Скажи, пожалуйста, как дела?... Я знаю, что ты не имеешь права, я только... Если бы ты был так добр и сказал только — удалось ли... О господи, все еще ничего? Я знаю, что трудное дело, но... Еще минутку, Врзал, прошу тебя. Понимаешь, я бы охотно объявил награду в десять тысяч тому, кто найдет вора. Из моих личных средств, понимаешь? Больше я дать не могу, но за такую услугу... Я знаю, что нельзя, ну а если приватно... Ну ладно, ладно, это будет мое частное дело, официально этого нельзя, я знаю. Или, может, разделить эту сумму между сыщиками из полиции, а? Разумеется, ты об этом ничего не знаешь... Но если бы ты намекнул этим людям, что, мол, полковник Гампл обещал десять тысяч. Ну, ладно, пусть это сделает твой вахмистр... Пожалуйста! Ну, спасибо, извини!

Полковнику как-то полегчало после этой беседы и своих щедрых посулов. Ему казалось, что теперь и он как-то участвует в розысках проклятого шпиона, выкравшего документ. Полковник лег на диван и начал представлять себе, как сто, двести, триста сыщиков (все рыжие, все с беличьими зубами и ухмыляющиеся, как Пиштора) обыскивают поезда, останавливают несущиеся к границе автомашины, подстерегают свою добычу за углом и вырастают из-под земли со словами: «Именем закона! Следуйте за мной и храните молчание». Потом полковнику померещилось, что он в академии сдает экзамен по баллистике. Он застонал и проснулся, обливаясь холодным потом. Кто-то звонил у дверей.

Полковник вскочил, стараясь сообразить, в чем дело. В дверях показались беличьи зубы сыщика Пишторы.

— Вот и я, — сказал он. — Разрешите доложить, это был он.

— Кто? — не понимая, спросил полковник.

— Как кто? Андрлик! — удивился Пиштора и даже перестал ухмыляться. — Больше ведь некому. Пепик-то сидит в Панкраце.

— А ну вас, с вашим Андрликом, — нетерпеливо сказал полковник.

Пиштора вытаращил свои блеклые глаза.

— Но ведь он украл жестянку с макаронами из вашей кладовой, — сказал он обиженным тоном. — Он уже сидит у нас в участке. Я, извиняюсь, пришел только спросить... Андрлик говорит, что там не было макарон, а только бумаги. Врет или как?

— Молодой человек! — вскричал полковник вне себя. — Где эти бумаги?

— У меня в кармане, — осклабился сыщик. — Куда я их сунул? — говорил он, роясь в карманах люстринового пиджачка. — Ага, вот. Это ваши?

Полковник вырвал из рук Пишторы драгоценный документ № 139/VII отд. "С" и даже прослезился от радости.

— Дорогой мой, — бормотал он. — Я готов вам за это отдать... не знаю что. Жена! — закричал он. — Поди сюда! Это господин полицейский комиссар... господин инспектор... э-э-э...

— Агент Пиштора, — осклабясь, сказал человечек.

— Он нашел украденный документ, — разливался полковник. — Принеси же коньяк и рюмки... Господин Пиштора, я... Вы даже не представляете себе... Если бы вы знали... Выпейте, господин Пиштора!

— Есть о чем говорить... — ухмылялся Пиштора. — Славный коньячок! А жестянка, мадам, осталась в участке.

— Черт с ней, с жестянкой! — блаженно шумел полковник. — Но, дорогой мой, как



вам удалось так быстро найти документы? Ваше здоровье, господин Пиштора!

— Покорно благодарю, — учтиво отозвался сыщик. — Ах, господи, это же пустяковое дело. Если где очистят кладовку, значит ясно, что надо взяться за Андрлика или Пепика. Но Пепик сейчас отсиживает два месяца. А ежели, скажем, очистят чердак, то это специальность Писецкого, хромого Тендера, Канера, Зимы или Хоуски.

— Смотрите-ка! — удивился полковник. — Слушайте, ну, а что, если, к примеру, шпионаж? Прошу еще рюмочку, господин Пиштора.

— Покорно благодарю. Шпионажа у нас нет. А вот кражи бронзовых дверных ручек — это Ченек и Пинкус. По медным проводам теперь только один мастер — некто Тоушек. Пивными кранами занимаются Ганоусек, Бухта и Шлезингер. У нас все известно наперед. А взломщиков касс по всей республике — двадцать семь человек. Шестеро из них сейчас в тюрьме.

— Так им и надо! — злорадно сказал полковник. — Выпейте, господин Пиштора.

— Покорно благодарю, — сказал Пиштора. — Я много не пью. Ваше здоровьице! Воры, знаете, неинтеллигентный народ. Каждый знает только одну специальность и работает на один лад, пока мы его опять не поймаем. Вроде вот как этот Андрлик «Ах, — сказал он, завидев меня, — господин Пиштора! Пришел не иначе, как насчет той кладовки. Господин Пиштора, ей-богу, не стоящее дело, ведь мне там достались только бумаги в жестянке. Скорей сдохнешь, чем украдешь что-нибудь путное». — «Идем, дурень, — говорю я ему, — получишь теперь не меньше года».

— Год тюрьмы? — сочувственно спросил полковник. — Не слишком ли строго?

— Ну, как-никак, кража со взломом, — ухмыльнулся Пиштора. — Премного благодарен, мне пора. Там в одной лавке обчистили витрину, надо заняться этим делом. Ясно, что это работа Клечки или Рудла. Если я вам еще понадобится, пошлите в участок. Спросите только Пиштору.

— Послушайте, — сказал полковник — Я бы вам... за вашу услугу... Видите ли, этот документ... он для меня особенно дорог... Вот вам, пожалуйста, возьмите, — быстро закончил он и сунул Пишторе бумажку в пятьдесят крон.

Пиштора был приятно поражен и даже стал серьезным.

— Ах, право, не за что! — сказал он, быстро пряча кредитку. — Такой пустяковый случай. Премного благодарен. Если я вам понадобится...

— Я дал ему пятьдесят крон, — благодушно объявил жене полковник Гампл. — Такому шмендрику хватило бы и двадцати, но... — полковник махнул рукой, — будем великодушны. Ведь документ-то нашелся!

1926

### Человек, который никому не нравился

— А в чем же дело? — спросил Колда.

— Господин Колда, — сказал Пацовский вахмистру Колде, — у меня тут кое-что есть для вас.

Пацовский во времена Австро-Венгерской монархии тоже был полицейским и даже служил в конной полиции, но после войны никак не мог приспособиться к новым порядкам и ушел на пенсию. Малость поосмотревшись, он наконец арендовал деревенскую гостиницу под названием «На вышке». Гостиница была, конечно, где-то на отшибе, но теперь это как раз начинает нравиться людям: всякие там загородные прогулки, сельский пейзаж, купание в озерах и разные такие вещи.

— Господин Колда, — сказал Пацовский, — я тут чего-то не возьму в толк. Остановился у меня один гость, некий Ройдл, живет уже две недели, и ничего ты о нем не скажешь: платит исправно, не пьянствует, в карты не играет, но... Знаете что, — вырвалось у Пацовского, — зайдите как-нибудь взглянуть на него.

— В том-то и загвоздка, — продолжал Пацовский огорченно, — что я и сам не знаю. Ничего, кажется, особенного в нем нет, но как бы это вам сказать? Этот человек мне не нравится, и basta.

— Ройдл, Ройдл, — вслух размышлял вахмистр Колда. — Это имя мне ничего не говорит. Кто он?

— Не знаю, — сказал Пацовский. — Говорит, банковский служащий, но я не могу из него вытянуть название банка. Не нравится мне это. С виду такой учтивый, а... И почта ему не приходит. Мне кажется, он избегает людей. И это мне тоже не нравится.

— Как это — избегает людей? — заинтересовался Колда.

— Он не то чтобы избегает, — как-то неуверенно продолжал Пацовский, — но... скажите, пожалуйста, кому охота в сентябре сидеть в деревне? А если перед гостиницей остановится машина, так он вскочит даже во время еды и спрячется в свою комнату. Вот Оно как! Говорю вам, не нравится мне этот человек.

Вахмистр Колда на минутку задумался.

— Знаете, господин Пацовский, — мудро решил он. — Скажите-ка ему, что на осень вы свою гостиницу закрываете. Пусть себе едет в Прагу или куда-нибудь еще. Зачем нам держать его здесь? И дело с концом.

На следующий день, в воскресенье, молодой жандарм Гурих, по прозвищу Маринка или Паненка, возвращался с обхода; по дороге решил он заглянуть в гостиницу. И прямо из леса черным ходом направился во двор. Подойдя к двери, Паненка остановился, чтобы прочистить трубку, и тут услышал, как во втором этаже растворилось со звоном окно и из него с шумом что-то вывалилось. Паненка выскочил во двор и схватил за плечо человека, который ни с того ни с чего вздумал прыгать из окна.

— Что это вы делаете? — укоризненно спросил жандарм. У человека, которого он держал за плечо, лицо было бледно и невыразительно.

— Разве нельзя прыгать? — спросил он робко. — Я ведь здесь живу.

Жандарм Паненка не долго обдумывал ситуацию. — Может быть, вы тут и живете, — сказал он, — но мне не нравится, что вы прыгаете из окна.

— Я не знал, что это запрещено, — оправдывался человек с невыразительным лицом. — Спросите господина Пацовского, он подтвердит, что я здесь живу. Я Ройдл.

— Может быть, — произнес жандарм. — Тогда предъявите мне ваши документы.

— Документы? — неуверенно спросил Ройдл. — У меня нет с собой никаких документов. Я попрошу их прислать.

— Мы уж сами их запросим, — сказал Паненка не без удовольствия. — Пройдемте со мной, господин Ройдл.

— Куда? — воспротивился Ройдл, и лицо его стало просто серым. — По какому праву... На каком основании вы хотите меня арестовать?

— Потому что вы мне не нравитесь, господин Ройдл, — заявил Паненка. — Хватит болтать, пошли.

В жандармском участке сидел вахмистр Колда в теплых домашних туфлях, курил длинную трубку и читал ведомственную газету. Увидев Паненку с Ройдлом, он разразился страшным криком:

— Мать честная, Маринка, что же вы делаете? Даже в воскресенье покоя не даете! Почему именно в воскресенье вы тащите ко мне людей?

— Господин вахмистр, — отрапортовал Паненка, — этот человек мне не понравился. Когда он увидел, что я подхожу к гостинице, то выпрыгнул во двор из окна и хотел удрать в лес. Документов у него тоже нет. Я его и забрал. Это какой-то Ройдл.

— Ага, — сказал Колда с интересом, — господин Ройдл. Так вы уже попались, господин Ройдл.

— Вы не можете меня арестовать, — беспокожно пробормотал Ройдл.

— Не можем, — согласился вахмистр, — но мы можем вас задержать, не правда ли? Маринка, сбегайте в гостиницу, осмотрите комнату задержанного и принесите сюда его

вещи. Садитесь, господин Ройдл.

— Я... я отказываюсь давать какие-либо показания... — заикаясь, произнес расстроенный Ройдл. — Я буду жаловаться. Я протестую.

— Мать честная, господин Ройдл, — вздохнул Колда. — Вы мне не нравитесь. И возиться с вами я не стану. Садитесь вон там и помалкивайте.

Колда снова взял газету и продолжал читать.

— Послушайте, господин Ройдл, — сказал вахмистр немного погодя. — Что-то у вас не в порядке. Это прямо по глазам видно. На вашем месте я бы рассказал все и обрел наконец покой. А не хотите — не надо. Дело ваше.

Ройдл сидел бледный и обливался потом. Колда посмотрел на него, скорчил презрительную гримасу и пошел поворошить грибы, которые у него сушились над печкой.

— Послушайте, господин Ройдл, — начал опять Колда после некоторого молчания. — Пока мы будем устанавливать вашу личность, вы будете сидеть в здании суда, и никто там не станет с вами разговаривать. Не сопротивляйтесь, дружище!

Ройдл продолжал молчать, а Колда что-то разочарованно ворчал и чистил трубку.

— Ну, хорошо, — сказал он. — Вот посмотрите: пока мы вас опознаем, может, и месяц пройдет, но этот месяц, Ройдл, вам не присчитают к сроку наказания. А ведь жаль зря просидеть целый месяц.

— А если я признаюсь, — нерешительно спросил Ройдл, — тогда...

— Тогда сразу же начнется предварительное заключение, понимаете? — объяснил Колда. — И этот срок вам зачтут. Ну, поступайте как знаете. Вы мне не нравитесь, и я буду рад, когда вас увезут отсюда в краевой суд. Так-что, господин Ройдл...

Ройдл вздохнул, в его бегающих глазах появилось горестное и какое-то загнанное выражение.

— Почему? — вырвалось у него, — почему все мне говорят, что я им не нравлюсь?

— Потому что вы чего-то боитесь, — наставительно сказал Колда, — вы что-то скрываете, а это никому не нравится. Почему вы, Рейдл, никому не смотрите в глаза? Ведь вам нигде нет покоя. Вот в чем дело, господин Ройдл.

— Роснер, — поправил бледный человек удрученно. Колда задумался.

— Роснер, Роснер, подождите. Какой это Роснер? Это имя мне почему-то знакомо.

— Так ведь я Фердинанд Роснер! — выкрикнул человек.

— Фердинанд Роснер, — повторил Колда. — Это уже мне кое-что напоминает. Роснер Фердинанд...

— Депозитный банк в Вене, — подсказал вахмистру бледный человек.

— Ага! — радостно воскликнул Колда. — Растрата! Вспомнил! Дружище, ведь у нас уже три года лежит ордер на ваш арест. Так, значит, вы Роснер, — повторил он с удовольствием. — Что же вы сразу не сказали? Я вас чуть не выставил, а вы Роснер! Маринка! — обратился Колда к входящему жандарму Гуриху, — ведь это Роснер, растратчик.

— Я попрошу... — сказал Роснер и как-то болезненно вздрогнул.

— Вы к этому привыкнете, Роснер, — успокоил его Колда. — Будьте довольны, что все уже выяснилось. Скажите, бога ради, милый человек, где же вы все эти годы прятались?

— Прятался, — горько сознался Роснер, — или в спальнях вагонов, или в самых дорогих отелях. Там тебя никто не спросит, кто ты и откуда прибыл.

— Да, да, — сочувственно поддакнул Колда. — Я понимаю, это действительно огромные расходы!

— Еще бы, — с облегчением произнес Роснер, — разве я мог заглянуть в какой-нибудь плохонький отель, где, того и гляди, нарвешься на полицейскую облаву? Господи! Да ведь все это время я вынужден был жить не по средствам! Дольше трех ночей нигде не оставался. Вот только здесь... но тут-то вы меня и сцапали.

— Да, жаль, конечно, — утешал его Колда. — Но ведь у вас все равно кончались деньги, неправда ли, Роснер?

— Да, — согласился Роснер, — Сказать по правде, больше я все равно бы не выдержал. За эти три года я ни с кем по душам не поговорил. Вот только сейчас. Не мог даже поесть как следует. Едва взглянет кто, я уже стараюсь исчезнуть. Все смотрели на меня как-то подозрительно, — пожаловался Роснер. — И все казалось, что они из полиции. Представьте себе, и господин Пацовский тоже.

— Не обращайтесь на это внимания, — сказал Колда. — Пацовский тоже бывший полицейский.

— Вот видите! — проворчал Роснер. — Попробуй тут скройся! Но почему все смотрели на меня так подозрительно? Разве я похож на преступника?

Колда испытующе поглядел на него.

— Я вам вот что скажу, Роснер, — произнес он. — Теперь уже нет. Теперь вы уже выглядите совсем как обычный человек. Но раньше вы мне, приятель, не нравились. Я даже не знаю, что всех против вас так восстанавливало... Но, — решительно добавил Колда, — Маринка сейчас отведет вас в суд. Еще нет шести часов, и сегодняшний день вам зачтут. Не будь сегодня воскресенья, я бы сам вас отвел. Чтобы вы знали, что... что против вас мы ничего не имеем. Все это было из-за вашей необщительности, Роснер. А теперь все в порядке. Маринка, наденьте ему наручники!

— Знаете, Маринка, — заявил вечером Колда, — я вам скажу, мне этот Роснер понравился. Очень милый человек, не правда ли? Я думаю, больше года ему не дадут.

— Я попросил, — сказал жандарм Паненка, краснея, — чтобы ему принесли два одеяла. Он ведь не привык спать на тюремной койке.

— Это хорошо, — заметил Колда. — А я скажу надзирателю, чтобы он поболтал с ним немного. Пусть этот Роснер снова почувствует себя среди людей.

## Поэт

**Заурядное происшествие: в четыре часа утра на Житной улице автомобиль сбил с ног пьяную старуху и скрылся, развив бешеную скорость. Молодому полицейскому комиссару Мейзлику предстояло отыскать это авто. Как известно, молодые полицейские чиновники относятся к делам очень серьезно.**

— Гм... — сказал Мейзлик полицейскому номер 141. — Итак, вы увидели в трехстах метрах от вас быстро удалявшийся автомобиль, а на земле — распростертое тело. Что вы прежде всего сделали?

— Прежде всего подбежал к пострадавшей, — начал полицейский, — чтобы оказать ей первую помощь.

— Сначала надо было заметить номер машины, — проворчал Мейзлик, — а потом уже заниматься этой бабой... Впрочем, и я, вероятно, поступил бы так же, — добавил он, почесывая голову карандашом. — Итак, номер машины вы не заметили. Ну, а другие приметы?

— По-моему, — неуверенно сказал полицейский номер 141, — она была темного цвета. Не то синяя, не то темно-красная. Из глушителя валил дым, и ничего не было видно.

— О господи! — огорчился Мейзлик. — Ну, как же мне теперь найти машину? Бегать от шофера к шоферу и спрашивать: «Это не вы переехали старуху?» Как тут быть, скажите сами, любезнейший?

Полицейский почтительно и равнодушно пожал плечами.

— Осмелюсь доложить, у меня записан один свидетель. Но он тоже ничего не знает. Он ждет рядом в комнате.

— Введите его, — мрачно сказал Мейзлик, тщетно стараясь выудить что-нибудь в куцем протоколе. — Фамилия и местожительство? — машинально обратился он к вошедшему, не поднимая взгляда.

— Кралик Ян — студент механического факультета, — отчетливо произнес свидетель.  
— Вы были очевидцем того, как сегодня в четыре часа утра неизвестная машина сбила Божену Махачкову?

— Да. И я должен заявить, что виноват шофер. Судите сами, улица была совершенно пуста, и если бы он сбавил ход на перекрестке...

— Как далеко вы были от места происшествия? — прервал его Мейзлик.

— В десяти шагах. Я провожал своего приятеля из... из пивной, и когда мы проходили по Житной улице...

— А кто такой ваш приятель? — снова прервал Мейзлик. — Он тут у меня не значится.

— Поэт Ярослав Нерад, — не без гордости ответил свидетель. — Но от него вы ничего не добьетесь.

— Это почему же? — нахмурился Мейзлик, не желая выпустить из рук даже соломинку.

— Потому, что он... у него... такая поэтическая натура. Когда произошел несчастный случай, он расплакался, как ребенок, и побежал домой... Итак, мы шли по Житной улице, вдруг откуда-то сзади выскочила машина, мчавшаяся на предельной скорости...

— Номер машины?

— Извините, не заметил. Я обратил внимание лишь на бешеную скорость и говорю себе — вот...

— Какого типа была машина? — прервал его Мейзлик.

— Четырехтактный двигатель внутреннего сгорания, — деловито ответил студент механик. — Но в марках я, понятно, не разбираюсь.

— А какого цвета кузов? Кто сидел в машине? Открытая или лимузин?

— Не знаю, — смущенно ответил свидетель. — Цвет, кажется, черный. Но, в общем, я не заметил, потому что, когда произошло несчастье, я как раз обернулся к приятелю: «Смотри, говорю, каковы мерзавцы: сбили человека и даже не остановились».

— Гм... — недовольно буркнул Мейзлик. — Это, конечно, естественная реакция, но я бы предпочел, чтобы вы заметили номер машины. Просто удивительно, до чего не наблюдательны люди. Вам ясно, что виноват шофер, вы правильно заключаете, что эти люди мерзавцы, а на номер машины вы — ноль внимания. Рассуждать умеет каждый, а вот поделовому наблюдать окружающее... Благодарю вас, господин Кралик, я вас больше не задерживаю.

Через час полицейский номер 141 позвонил у дверей поэта Ярослава Нерада.

— Дома, — ответила хозяйка квартиры. — Спит.

Разбуженный поэт испуганно вытаращил заспанные глаза на полицейского. «Что же я такое натворил?» — мелькнуло у него в голове.

Полицейскому, наконец, удалось объяснить Нераду, зачем его вызывают в полицию.

— Обязательно надо идти? — недоверчиво осведомился поэт.

— Ведь я все равно уже ничего не помню. Ночью я был немного...

— Под мухой, — понимающе сказал полицейский. — Я знаю многих поэтов. Прошу вас одеться. Я подожду.

По дороге они разговаривали о кабаках, о жизни вообще, о небесных знамениях и о многих других вещах; только политике были чужды оба. Так, в дружеской и поучительной беседе они дошли до полиции.

— Вы поэт Ярослав Нерад? — спросил Мейзлик. — Вы были очевидцем того, как неизвестный автомобиль сбил Божену Махачкову?

— Да, — вздохнул поэт.

— Можете вы сказать, какая это была машина? Открытая, закрытая, цвет, количество пассажиров, номер?

Поэт усиленно размышлял.

— Не знаю, — сказал он. — Я на это не обратил внимания.

— Припомните какую-нибудь мелочь, подробность, — настаивал Мейзлик.



— Да что вы! — искренне удивился Нерад. — Я никогда не замечаю подробностей.

— Что же вы вообще заметили, скажите, пожалуйста? — иронически осведомился Мейзлик.

— Так, общее настроение, — неопределенно ответил поэт. Эту, знаете ли, безлюдную улицу... длинную... предрассветную... И женская фигура на земле... Пойдите! — вдруг вскочил поэт. — Ведь я написал об этом стихи, когда пришел домой.

Он начал рыться в карманах, извлекая оттуда счета, конверты, измятые клочки бумаги.

— Это не то, и эго не то... Ага, вот оно, кажется. — И он погрузился в чтение строчек, написанных на вывернутом наизнанку конверте.

— Покажите мне, — вкрадчиво предложил Мейзлик.

— Право, это не из лучших моих стихов, — скромничал поэт. — Но, если хотите, я прочту.

Закатив глаза, он начал декламировать нараспев:

Дома в строю темнели сквозь ажур,  
Рассвет уже играл на мандолине.  
Краснела дева .  
В дальний Сингапур  
Вы уносились в гоночной машине.  
Повержен в пыль надломленный тюльпан.  
Умолкла страсть Безволие... Забвенье .  
О шея лебедя!  
О грудь!  
О барабан!  
И эти палочки -  
Трагедии знаменье!

— Вот и все, — сказал поэт.

— Извините, что же все это значит? — спросил Мейзлик. — О чем тут, собственно, речь?

— Как о чем? О происшествии с машиной, — удивился поэт. — Разве вам непонятно?

— Не совсем, — критически изрек Мейзлик. — Как-то из всего этого я не могу установить, что «июля пятнадцатого дня, в четыре часа утра, на Житной улице автомобиль номер такой-то сбил с ног шестидесятилетнюю нищенку Божию Махачкову, бывшую в нетрезвом виде. Пострадавшая отправлена в городскую больницу и находится в тяжелом состоянии». Обо всех этих фактах в ваших стихах, насколько я мог заметить, нет ни слова. Да-с.

— Все это внешние факты, сырая действительность, — сказал поэт, теребя себя за нос. — А поэзия — это внутренняя реальность. Поэзия — это свободные сюрреалистические образы, рожденные в подсознании поэта, понимаете? Это те зрительные и слуховые ассоциации, которыми должен проникнуться читатель. И тогда он поймет, — укоризненно закончил Нерад.

— Скажите пожалуйста! — воскликнул Мейзлик — Ну, ладно, дайте мне этот ваш опус. Спасибо. Итак, что же тут говорится? Гм... «Дома в строю темнели сквозь ажур...» Почему в строю? Объясните-ка это.

— Житная улица, — безмятежно сказал поэт. — Два ряда домов. Понимаете?

— А почему это не обозначает Национальный проспект? — скептически осведомился Мейзлик.

— Потому, что Национальный проспект не такой прямой, — последовал уверенный ответ.

— Так, дальше: «Рассвет уже играл на мандолине...» Допустим. «Краснела дева...»

Извиняюсь, откуда же здесь дева?

— Заря, — лаконически пояснил поэт.

— Ах, прошу прощения. «В дальний Сингапур вы уносились в гоночной машине»?

— Так, видимо, был воспринят мной тот автомобиль, — объяснил поэт.

— Он был гоночный?

— Не знаю. Это лишь значит, что он бешено мчался. Словно спешил на край света.

— Ага, так. В Сингапур, например? Но почему именно в Сингапур, боже мой?

Поэт пожал плечами.

— Не знаю, может быть, потому, что там живут малайцы.

— А какое отношение имеют к этому малайцы? А?

Поэт замялся.

— Вероятно, машина была коричневого цвета, — задумчиво произнес он. — Что-то коричневое там непременно было. Иначе откуда взялся бы Сингапур?

— Так, — сказал Мейзлик. — Другие свидетели говорили, что авто было синее, темно-красное и черное. Кому же верить?

— Мне, — сказал поэт. — Мой цвет приятнее для глаза.

— «Повержен в пыль надломленный тюльпан», — читал далее Мейзлик. — «Надломленный тюльпан» — это, стало быть, пьяная побирушка?

— Не мог же я так о ней написать! — с досадой сказал поэт. — Это была женщина, вот и все. Понятно?

— Ага! А это что: «О шея лебедя, о грудь, о барабан!» — Свободные ассоциации?

— Покажите, — сказал, наклоняясь, поэт. — Гм... «О шея лебедя, о грудь, о барабан и эти палочки»... Что бы все это значило?

— Вот и я то же самое спрашиваю, — не без язвительности заметил полицейский чиновник.

— Постойте, — размышлял Нерад. — Что-нибудь подсказало мне эти образы... Скажите, вам не кажется, что двойка похожа на лебединую шею? Взгляните.

И он написал карандашом "2".

— Ага! — уже не без интереса воскликнул Мейзлик. — Ну, а это: «о грудь»?

— Да ведь это цифра три, она состоит из двух округлостей, не так ли?

— Остаются барабан и палочки! — взволнованно воскликнул полицейский чиновник.

— Барабан и палочки... — размышлял Нерад. — Барабан и палочки... Наверное, это пятерка, а? Смотрите, — он написал цифру 5. — Нижний кружок словно барабан, а над ним палочки.

— Так, — сказал Мейзлик, выписывая на листке цифру «235». — Вы уверены, что номер авто был двести тридцать пять?

— Номер? Я не заметил никакого номера, — решительно возразил Нерад. — Но что-то такое там было, иначе бы я так не написал. По-моему, это самое удачное место? Как вы думаете?

Через два дня Мейзлик зашел к Нераду. На этот раз поэт не спал. У него сидела какая-то девица, и он тщетно пытался найти стул, чтобы усадить полицейского чиновника.

— Я на минутку, — сказал Мейзлик. — Зашел только сказать вам, что это действительно было авто номер двести тридцать пять.

— Какое авто? — испугался поэт.

— «О шея лебедя, о грудь, о барабан и эти палочки!» — одним духом выпалил Мейзлик. — И насчет Сингапура правильно. Авто было коричневое.

— Ага! — вспомнил поэт. — Вот видите, что значит внутренняя реальность. Хотите, я прочту вам два-три моих стихотворения? Теперь-то вы их поймете.

— В другой раз! — поспешил ответить полицейский чиновник. — Когда у меня опять будет такой случай, ладно?

## Происшествия с паном Яником

— Встань, Башта! — орал на него жандарм. — Не здесь. Пошел дальше!

Пан Яник, о котором пойдет речь, это не доктор Яник из министерства, не тот Яник, что застрелил землевладельца Ирсу, и даже не торговый посредник Яник, который прославился тем, что ему удались подряд триста двадцать шесть карамболей, а пан Яник, глава фирмы «Яник и Голечек, оптовая торговля бумагой и целлюлозой. Это вполне добропорядочный господин, только невысокого роста. Когда-то он ухаживал за барышней Северовой, а расстроившись после неудачного сватовства, так никогда и не женился; словом, во избежание недоразумений, речь пойдет о Янике по прозвищу Оптовик.

Так вот, значит, этого пана Яника впутали в сыскные дела совершенно случайно, когда он отдыхал где-то на Сазаве; в то время искали Ружену Регнерову, убитую её женихом Индржихом Баштой; облив труп керосином, он сжег его да и закопал в лесу. Хотя Башту в убийстве уличили, но ни трупа, ни костей его жертвы найти не могли; уже девять дней блуждали жандармы по лесам, где Башта показывал им различные места; сыщики рылись и копали, но нигде ничего не обнаружили. Было ясно, что обессиленный Башта или сам запутался, или рассчитывает выиграть время. Этот Индржих Башта происходил из состоятельной семьи, но, скорее всего, акушер во время родов как-то повредил ему голову; словом, после этого у парня «колесиков не хватало» — такой он был чудной и распутный малый. Ну вот, девять дней водил Башта жандармов по лесам, сам бледный, как привидение; глаза бегают, веки дрожат от ужаса — страх глядеть, да и только, Жандармы таскались за ним по черничным кустам и болотам, от злости только что не кусались, а про себя думали: «Ну ладно, бестия, мы тебя изведем — все равно пощады запросишь!» Башта, едва переставлявший ноги от изнеможения, порою валялся на землю и хрипел: «Вот здесь, здесь я ее закопал!»

Башта, шатаясь, поднимался и плелся еще немножко, пока снова не падал от усталости. Так и шествовала эта процессия: четыре жандарма, двое агентов в штатском, несколько лесников, дядьки с мотыгами и с трудом державшийся на ногах, мертвенно-бледный обломок человека — Индржих Башта.

Пан Яник познакомился с жандармами в трактире, и ему позволили сопровождать это трагическое шествие, то есть никто не гнал его — нечего, мол, тебе тут делать. К тому же, в запасе у пана Яника имелись коробочки сардинок, колбаса, коньяк и все такое прочее, что оказалось весьма кстати. Но на девятый день всем стало невмоготу. Совсем невмоготу. И пан Яник решил, что пойти еще раз его не заманишь. Жандармы прямо-таки ревели от ярости; лесники заявили, что с них довольно, что их давно ждут другие дела; дядьки с мотыгами ворчали, что за такую каторгу двадцати крон в день мало, а рухнувший на землю Индржих Башта корчился в судорогах и уже не отвечал на крики и брань жандармов. И в эту полную безысходности минуту пан Яник совершил нечто неожиданное: он опустился перед Баштой на колени, сунул ему в руки бутерброд с ветчиной и жалостливо так произнес:

— Прошу, пан Башта, — ну вот, пан Башта, вы слышите? Башта взвыл и разразился плачем.

— Я найду... найду... — всхлипывал он и попытался подняться; тут к нему подскочил один из тайных агентов и почти нежно подхватил под руки.

— Обопритесь на меня, пан Башта, — уговаривал он его, — пан Яник поддержит вас с другой стороны, вот так. А теперь, пан Башта, теперь вы покажете пану Янику, где это случилось, не правда ли?

Через час Индржих Башта, дымя сигаретой, стоял над неглубокой ямой, откуда торчала берцовая кость.

— Это труп Ружены Регнеровой? — подавленно спросил вахмистр Трнка.

— Да, — невозмутимо ответил Индржих Башта и стряхнул пальцем пепел прямо в разверстую яму. — Не угодно ли господам узнать что-нибудь еще?

— Послушайте, пан Яник, — восторгался вечером в трактире вахмистр Трнка. — Вы настоящий психолог, ничего не скажешь. Ваше здоровье, пан Яник! Парень растаял, стоило

вам обратиться к нему: «Пан Башта!» Его человеческое достоинство страдало, видите ли! Мерзавец этакий! А мы-то, мы-то таскались за ним... Но ради бога — как вы догадались, что на него подействует вежливое обращение?

— Да просто, — отвечал герой дня, от смущения заливаясь румянцем, — ничего особенного... У меня привычка такая, понимаете? Мне то есть жалко стало этого пана Башту, захотелось угостить его булочкой...

— Инстинкт, — определил вахмистр Трка. — Вот это я называю нюх и знание людей. Ваше здоровье, пан Яник. Эх, жаль, надо бы вам работать по нашей части.

Некоторое время спустя ехал пан Яник ночным поездом в Братиславу — на общее собрание акционеров какой-то словацкой бумажной фабрики: пан Яник постоянно имел с нею дела и был весьма заинтересован в том, чтобы попасть на это заседание.

— Разбудите меня перед Братиславой, — попросил он проводника, — а то еще завезут на самую границу.

После этого пан Яник влез в купе спального вагона, радуясь, что едет один, улегся удобненько, словно покойничек, поразмышлял маленько о своей торговле и заснул. Он даже не сообразил, в котором часу проводник открыл купе новому пассажиру: раздевшись, тот взобрался на верхнюю полку. Спросонья пан Яник увидел над головой пару штанин и необычайно волосатые ноги, услышал кряхтенье человека, закутывающегося в одеяло; потом щелкнул выключатель, и снова все погрузилось в грохочущую колесным перестуком темноту.

Пан Яник спал беспокойно, его все преследовали какие-то волосатые ноги; проснулся он оттого, что долго было тихо, а за вагонным окном кто-то прокричал: «До встречи в Жилине!» Подскочив к окну, он увидел, что на улице уже светло, что поезд стоит на братиславском вокзале, и понял — проводник забыл про его наказ. С перепуга он не стал даже ругаться, с лихорадочной поспешностью, прямо на пижаму, натянул брюки и прочую верхнюю одежду, распахнул карманы свои пожитки и выскочил на перрон как раз в тот момент, когда дежурный по станции поднял руку, давая сигнал к отправлению поезда.

— «Тьфу!» — плюнул в сердцах пан Яник, погрозил кулаком отъезжающему скорому и отправился в уборную завершать свой туалет.

Проверив содержимое карманов, пан Яник остолбенел: в нагрудном кармане вместо одного бумажника он обнаружил два. В более пухлом оказалось шестьдесят новеньких чехословацких купюр достоинством в пятьсот крон каждая. Очевидно, бумажник принадлежал его ночному попутчику, но как он очутился в его кармане, этого заспанный пан Яник сообразить был не в силах. Разумеется, перво-наперво он кинулся искать кого-нибудь из полиции, чтобы избавиться от чужого бумажника. В полиции пана Яника долго морили голодом и звонили в Галанту — дескать, пусть передадут пассажиру ночного скорого, занимающему четырнадцатое место, что его бумажник с деньгами находится в братиславском полицейском участке. После этого пан Яник сообщил свои данные и отправился завтракать. Однако вскоре его разыскал полицейский и все интересовался, нет ли в сведениях пана Яника ошибки; оказывается, пассажир ночного скорого, занимающий четырнадцатое место, ответил, что никакого портмоне у него не пропадало. Пану Янику пришлось вернуться в участок и снова пояснять, как он обнаружил у себя чужой бумажник. Между тем два тайных агента куда-то отнесли переданные деньги, и пан Яник полчаса просидел под охраной двух детективов, после чего предстал перед каким-то высоким полицейским чином.

— Пан Яник, — обратился к нему этот чин, — мы сейчас телеграфируем в Паркань-Нанью, чтобы пассажир из вашего купе был задержан. Не припомните ли вы его приметы?

Пан Яник смог припомнить только одно: что у пассажира были необычайно волосатые ноги. Высокий чин остался не слишком доволен таким ответом.

— Эти банкноты — фальшивые, — ошеломил он пана Яника откровенным признанием, — придется вам побыть у нас, пока мы не устроим вам очную ставку с вашим спутником.

Пан Яник на чем свет клял в душе проводника, который не разбудил его вовремя, из-за чего он в спешке засунул себе в карман этот треклятый бумажник. Приблизительно через час из Паркань-Наньи поступила депеша, что пассажир, занимающий четырнадцатое место, вышел в Новых Замках; куда он пошел или поехал потом, никому неизвестно.

— Пан Яник, — объявил наконец высокий полицейский чин, — мы не станем дольше задерживать вас; мы передаем это дело в Прагу инспектору Грушке, он занимается фальшивомонетчиками; но вам я скажу, что дело, надо полагать, очень серьезное. Возвращайтесь поскорее в Прагу, там вас вызовут. А пока благодарю вас — вы весьма счастливо напали на эти фальшивки. Это, знаете ли, не простая случайность.

Не успел пан Яник вернуться в Прагу, как его призвали в полицейское управление; там его принял грузный, огромного роста человек, к которому все обращались «пан президент», и желтый, жилистый инспектор по фамилии Грушка.

— Садитесь, пан Яник, — предложил грузный господин и распечатал небольшой сверток. — Это — тот бумажник, который вы... гм... обнаружили у себя в кармане на братиславском вокзале?

— Да, с вашего позволения, — вздохнул пан Яник. Грузный господин пересчитал новенькие банкноты, лежавшие в бумажнике.

— Шестьдесят купюр, — заметил он. — И все серии двадцать семь тысяч четыреста пятьдесят один. Нам уже сообщили об этом номере из Хеба.

Жилистый инспектор взял в руки одну купюру и, закрыв глаза, помял ее пальцами, а потом обнюхал.

— Эти — из Граца, — сказал он. — Женевские не такие клейкие.

— Грац! — задумчиво повторил грузный чиновник, — там такие бумажки фабрикуют для Будапешта, а?

Жилистый человечек только моргнул в знак согласия.

— Вы хотите послать меня в Вену? Но тамошняя полиция нам его не выдаст.

— Гм, — буркнул грузный президент. — Тогда попробуйте заполучить его иным путем. Если не выйдет, пообещаем за него Лебергардта. Желаю успеха, Грушка. А вас, сказал он, обращаясь к пану Янику, — и не знаю, как благодарить. Ведь невесту Индржиха Башты тоже вы нашли?

Пан Яник зарделся.

— Так это просто счастливая случайность, — поспешно проговорил он. — Право, я... не думал даже...

— Легкая у вас рука, — с признательностью промолвил президент. — Не иначе как божий дар, пан Яник. Иной за всю жизнь ничего не раскроет, а тут дела одно другого лучше прямо сами собой лезут вам в руки. Вам бы к нам перейти, пан Яник.

— Да куда уж, — отнекивался пан Яник, — я... видите ли, у меня дело... налаженная торговля... старая фирма, еще от дедушки...

— Как знаете, — вздохнул толстяк, — но жаль. Такой дар — редкость. Но я с вами не прощаюсь, пан Яник.

Спустя месяц пан Яник ужинал со своим компаньоном из Дрездена. Само собой, такой деловой ужин всегда хорош, но в этот раз коньяк был просто отменный; словом, пану Янику никак не хотелось добираться домой пешком, и он, поманив кельнера, приказал: «Машину!» Выйдя из отеля, пан Яник увидел, что такси уже стоит у подъезда; забравшись внутрь, он захлопнул дверцу и, будучи в самом прекрасном расположении духа, начисто забыл сообщить шоферу адрес. Тем не менее машина набрала скорость, и пан Яник, удобно приткнувшись в уголке, заснул.

Как долго длилось путешествие, пан Яник не знал; проснулся он оттого, что машина остановилась и шофер отворил перед ним дверцу со словами:

— Это здесь. Поднимитесь наверх, сударь. Хотя пан Яник очень удивился, очутившись невесть где, но, поскольку после выпитого коньяка ему и море было по колено, поднялся по какой-то лестнице наверх и открыл двери, из-за которых доносились громкие голоса.



В зале сидело около двадцати человек, все они нетерпеливо обернулись. И вдруг воцарилась немыслимая тишина; один из собравшихся встал и, подойдя к пану Янику, спросил:

— Чего вам тут нужно? Кто вы?

Ошеломленный пан Яник огляделся и узнал пять или шесть знакомых — очень богатых людей, о которых поговаривали, будто у них особые интересы в области политики; но в политические дела пан Яник не вмешивался.

— Бог помощь! — дружески приветствовал он собрание. — Вон там пан Коубек и пан Геллер. — Привет, Ферри! Я бы выпил, братцы!

— Откуда этот тип взялся? — рассвирепел кто-то. — Он что, тоже наш?

Двое незнакомцев вытолкали пана Яника в коридор.

— Как вы здесь очутились? — грубо спросил один из них. — Кто вас сюда звал?

Расслышав этот не слишком дружелюбный вопрос, пан Яник мгновенно протрезвел.

— Где я? — возмутился он. — Черт возьми куда меня привезли?

Один из незнакомцев слетел вниз по лестнице и накинулся на шофера:

— Идиот, — орал он, — где вы подобрали этого человека?

— Возле гостиницы, — оборонялся шофер. — Сегодня после полудня я получил указание в десять часов остановиться у гостиницы и ждать какого-то господина, а потом доставить его сюда. Этот господин ровно в десять сел в машину, ни слова мне не сказал; вот я и доставил его сюда...

— Черт побери! — бесновался внизу какой-то человек, — так ведь это не тот! Ну и заварили вы кашу, голубчик! Пан Яник смиренно уселся на ступеньках.

— Ах, значит, я попал на какое-то тайное сборище, — с удовольствием отметил он. — Теперь вы должны меня задушить, а труп зарыть в землю. Стакан воды!

— Вы заблуждаетесь, приятель, — сказал один из незнакомцев. — Там не было ни пана Коубека, ни пана Геллера, понятно? Это ошибка. Мы доставим вас в Прагу; извините, но произошло недоразумение.

— Ничего страшного не произошло, — великодушно произнес пан Яник. — Я понимаю, ваш шофер прикончит меня по дороге и зароет в лесу. Какая разница! Я, болван, забыл дать адрес, вот и влип в историю.

— Вы пьяны, да? — спросил незнакомец с явным облегчением.

— Отчасти, — подтвердил пан Яник. — Видите ли, я ужинал с Мейером из Дрездена. Яник, оптовая торговля бумагой и целлюлозой, — представился он, не поднимаясь со ступенек. — Старая фирма, унаследована от дедушки.

— Идите проспите, — посоветовал ему незнакомый господин. — Проспавшись, вы и не вспомните, что...гм... мы вас нечаянно потревожили.

— Совершенно верно, — с достоинством произнес пан Яник. — Идите и вы спать, голубчик. Где тут можно лечь?

— У вас дома, — произнес незнакомец. — Шофер подвезет вас. Позвольте, я помогу вам встать.

— Это лишнее, — запротестовал пан Яник. — Я нализался не больше вашего. Идите-ка и тоже проспите. Водитель, Бубенеч.

Машина повернула обратно; пан Яник, хитро помаргивая, примечал, куда это его везут.

Утром пан Яник сообщил в полицейское управление о своих ночных похождениях.

— Пан Яник, — после небольшой паузы ответили ему из президиума. — Это дело представляет для нас чрезвычайный интерес. Настоятельно просим вас немедленно явиться в полицию.

Пан Яник явился в полицию, где его уже поджидали четверо полицейских с толстяком-президентом во главе. Пришлось пану Янику повторить свой рассказ о том, что с ним

случилось

и кого он видел.

— Машина была под номером два икса семьсот пять, — уточнил толстяк. — Машина частная. Из шести названных паном Яником лиц, о троих я слышу впервые. Теперь я вас покину, господа. Пан Яник, зайдите ко мне!

Пан Яник, затаившись, словномышь, сидел в огромном кабинете толстяка-президента, который в глубокой задумчивости расхаживал из угла в угол.

— Пан Яник, — проговорил он наконец, — прежде всего я должен попросить вас: никому ни слова — из государственных соображений, понятно?

Пан Яник молча кивнул. «Господи, — думал он, — во что это я снова вляпался?»

— Пан Яник, — внезапно предложил грузный президент, — я не хотел бы вам льстить, но вы нам необходимы. Вам дьявольски везет. Говорят, детективу прежде всего нужен метод: но если ему попросту не везет — он нам ни к чему. Нам нужны везучие люди. Разума у нас и у самих хватает, но мы желали бы приобрести счастливый случай. Знаете, идите-ка работать к нам, а?

— А торговля? — удрученно прошептал Яник.

— Торговлю поведет ваш компаньон; а вам, с вашим даром, тратить себя на это жалко; ну так как?

— Я... я еще подумаю о вашем предложении, — заикаясь, бормотал несчастный пан Яник. — Я к вам еще загляну на будущей неделе... Однако так ли уж это необходимо... и есть ли у меня способности... я еще проверю; я к вам загляну...

— Договорились, — согласился толстяк, крепко пожимая пану Янику руку. — Не сомневайтесь. До свидания.

Не прошло и недели, как пан Яник снова появился в полиции.

— Ну вот я и тут, — громко объявил он, сияя улыбкой.

— Решились? — спросил грузный полицейский президент.

— Упаси бог, — проговорил пан Яник, переводя дух, — я пришел вам сказать, что у нас с вами ничего не выйдет, я для этого дела не гожусь.

— Да полноте! Почему же это вы не годитесь?

— Вы подумайте, — ликовал пан Яник, — пять лет меня обкрадывал мой собственный управляющий, а я даже не догадывался! Вот болван, а? Согласитесь сами, какой же из меня детектив? Слава богу! Пять лет сижу бок о бок с этим мошенником, а до сих пор ничего не заподозрил! Как видите, никуда я не гожусь! А я уж так переживал! Господи, до чего же я рад, что из меня ничего не получится! Ну, стало быть, теперь вы на меня не рассчитываете, не так ли? Покорнейше благодарю...

## Гибель дворянского рода Вотицких

В один прекрасный день в кабинет полицейского чиновника д-ра Мейзлика вошел озабоченный человечек в золотых очках.

— Архивариус Дивишек, — представился он. — Господин Мейзлик, я к вам за советом... как к выдающемуся криминалисту. Мне говорили, что вы умеете... что вы особенно хорошо разбираетесь в сложных случаях. А это чрезвычайно загадочная история, — заключил он убежденно.

— Рассказывайте же, в чем дело, — сказал Мейзлик, взяв в руки блокнот и карандаш.

— Надо выяснить, — воскликнул архивариус, — кто убил высокородного Петра Берковца, при каких обстоятельствах умер его брат Индржих и что произошло с супругой высокородного Петра Катержикой.

— Берковец Петр? — задумался Мейзлик. — Что-то не припомню, чтобы к нам поступал акт о его смерти. Вы хотите официально поставить нас в известность об этом?

— Да нет же! — возразил архивариус. — Я к вам только за советом, понимаете? Видимо, у них там произошло нечто ужасное.

— Когда произошло? — пришел ему на помощь Мейзлик. — Прежде всего прошу сообщить точную дату.

— Ну, дата ясна: тысяча четыреста шестьдесят пятый год, — отозвался Дивишек, укоризненно воззвись на полицейского следователя. — Это вы должны бы знать, сударь. Дело было в царствование блаженной памяти короля Иржи из Подебрада.

— Ах, так!... — сказал Мейзлик и отложил блокнот и карандаш. — Вот что, мой друг, — продолжал он с

подчеркнутой приветливостью — Ваш случай больше относится к компетенции доктора Кноблоха, нашего полицейского врача. Я его приглашу сюда, ладно?

Архивариус приуныл.

— Как жаль! — сказал он. — Мне так рекомендовали вас! Видите ли, я пишу исторический труд об эпохе короля Иржи Подебрада и вот споткнулся, — да, именно споткнулся! — на таком случае, что не знаю, как и быть

«Безвредный», — подумал Мейзлик.

— Друг мой, — быстро сказал он, — боюсь, что не смогу вам помочь. В истории я очень слаб, надо сознаться.

— Это упущение с вашей стороны, — строго заметил Дивишек. — Историю вам надо бы знать. Но если даже вы непосредственно не знакомы с соответствующими историческими источниками, сударь, я изложу вам все известные обстоятельства этого дела. К сожалению, их немного. Прежде всего имеется письмо высокородного Ладислава Пхача из Олешной высоко родному Яну Боршовскому из Черчан. Это письмо вам, конечно, известно?

— Простите, нет, — сокрушенно признался Мейзлик тоном неуспевающего ученика.

— Что вы говорите! — возмутился Дивишек. — Ведь это письмо еще семнадцать лет назад опубликовал историк Шебек в своих «Извлечениях». Хоть это вам следовало бы знать. Но только, — добавил он, поправив очки, — ни Шебек, ни Пекарж, ни даже Новотный, в общем, никто не уделил письму должного внимания. А ведь именно это письмо, о котором вам следовало бы знать, навело меня на след

— Ага, — сказал Мейзлик. — Что же дальше?

— Итак, прежде всего о письме, — продолжал архивариус. — У меня, к сожалению, нет с собой полного текста, но нам важны только несколько фраз, которые относятся к данному делу. Дворянин Ладислав Пхач сообщает в нем дворянину Боршовскому, что его, то есть Боршовского, дядя, высокородный Ешек Скалицкий из Скалице, не ожидается при дворе в Праге, в этом, то есть в тысяча четыреста шестьдесят пятом году, поскольку, как пишет автор письма, «после тех недостойных деяний в Вотице Веленовой его милость король лично повелел, чтобы высокородный Ешек Скалицкий ко двору королевскому более не являлся, а предался молитвам и покаянию за свою вспыльчивость и уповал на правосудие божие». Теперь вы понимаете? — втолковывал архивариус Мейзлику. — Мы бы сказали, что его милость король тем самым наложил опалу на высокородного Ешека и сослал его в собственную сего дворянина вотчину. Не кажется ли это вам странным, сударь?

— Пока что нет, — сказал Мейзлик, выводя карандашом на бумаге замысловатые спирали.

— Ага! — торжествующе воскликнул Дивишек. — Вот видите, и Шебек тоже не нашел в этом ничего особенного. А ведь очень странно, сударь, то обстоятельство, что его королевская милость не вызвал дворянина Ешека — каковы бы ни были проступки последнего — на обычный светский суд, а предоставил его правосудию божьему. Король ясно дал этим понять, — почтительно произнес архивариус, — что проступки эти такого свойства, что сам государь изымает их из ведения светского правосудия. Если бы вы побольше знали о его королевской милости Иржи Подебраде, вы бы сразу поняли, что это исключительный случай, ибо блаженной памяти король всегда неукоснительно придерживался строгого соблюдения законов.

— Может быть, он побаивался дворянина Ешека? — заметил Мейзлик. — Во времена его правления это случалось...

Архивариус возмущенно вскочил.

— Что вы говорите, сударь! Чтобы король Иржи боялся кого-нибудь! Да еще простого дворянина!

— Значит, у Ешека была протекция, — заметил Мейзлик. — Сами знаете, даже у нас...

— Никакой протекции! — вскричал Дивишек, покраснев. — О протекции может идти речь, когда мы говорим о правлении короля Владислава, а при Иржи Подебраде... Нет, сударь, при нем протекция не помогала! Он бы вас выгнал. — Архивариус немного успокоился. — Нет, никакой протекции быть не могло! Очевидно, сами недостойные деяния были таковы, что его королевская милость препоручил виновного божьему правосудию.

— Что же это были за деяния? — вздохнул Мейзлик.

Архивариус удивился.

— Именно это вы и должны установить. Ведь вы криминалист. Для этого я к вам и пришел.

— Ради бога... — запротестовал Мейзлик, но посетитель не дал ему договорить.

— Прежде всего вы должны познакомиться с фактами, — сказал он наставительно. — Итак, обратив внимание на туманное указание письма, я поехал в Вотице искать следы упомянутых недостойных деяний. Там, однако, о них не сохранилось никаких записей. Зато в местной церкви я обнаружил могильную плиту дворянина Петра Берковца, и эта плита, сударь, датирована как раз тысяча четыреста шестьдесят пятым годом! А Петр Берковец был, видите ли, зятем дворянина Ешека Скалицкого, он женился на его дочери Катержине. Вот фотография с этого камня. Вы не замечаете ничего особенного?

— Нет, — сказал Мейзлик, осмотрев снимок с обеих сторон; на могильной плите была высечена статуя рыцаря со скрещенными на груди руками. Вокруг него шла надпись готическим шрифтом. — Постойте-ка, вот тут, в углу, отпечатки пальцев!...

— Это, наверное, мои, — сказал архивариус. — Но обратите внимание на надпись!

— «Anno Domini MCCCCLXV», — с трудом разобрал Мейзлик. — «Год от рождества Христова тысяча четыреста шестьдесят пятый». Это дата смерти того дворянина, не так ли?

— Разумеется. А больше вы ничего не замечаете? Некоторые буквы явно чуть покрупнее других. Вот поглядите.

И он быстро написал карандашом «Anno DOMiniMCCcCLXV».

— Мастер нарочно сделал буквы O, C и C побольше. Это криптограмма, понимаете? Напишите-ка эти буквы подряд — OCC. Вам ничего не приходит в голову?

— OCC, OCC, — бормотал Мейзлик. — Это может быть... ага, это сокращение слова «occisis» — «убит», а?

— Да! — торжествующе вскричал архивариус. — Мастер, сделавший могильную плиту, хотел сообщить потомству, что высокородный Петр Берковец из Вотице Веленовой был злодейски умерщвлен. Вот что!

— А убийца — его тесть, тот самый Ешек Скалицкий! — провозгласил Мейзлик по внезапному историческому наитию.

— Чушь! — пренебрежительно отмахнулся Дивишек. — Если бы высокородный Ешек убил высокородного Берковца, его милость король предал бы убийцу уголовному суду. Но слушайте дальше, сударь. Рядом с этой надгробной плитой лежит другая, под ней покоится Henricus Berkovec de Wotice Welenowa, то есть брат высокородного Петра. И на этой плите высечена та же дата: тысяча четыреста шестьдесят пятый год, только без всякой криптограммы. Рыцарь Индржих изображен на ней с мечом в руке. Мастер, видимо, хотел дать понять, что покойный пал в честном бою. А теперь объясните мне, пожалуйста, какова связь между этими двумя смертями.

— Может быть, тот факт, что Индржих умер в том же году, — просто чистая случайность? — неуверенно предположил Мейзлик.

— Случайность! — рассердился архивариус. — Сударь, мы, историки, не признаем никаких случайностей. Куда бы мы докатились, если бы допустили случайности! Не-ет, тут

должна быть причинная связь! Но я еще не изложил вам все факты! Через год, в тысяча четыреста шестьдесят шестом году, почил в бозе высокородный Ешек из Скалице, и — обратите внимание! — его вотчины Скалице и Градек перешли по наследству к его двоюродному брату, уже известному нам дворянину Яну Боршовскому из Черчан. Вы понимаете, что это означает? Это означает, что дочери покойного, Катержины, которую, как известно каждому младенцу, в тысяча четыреста шестьдесят четвертом году взял себе в жены высокородный Петр Берковец, тоже уже не было в живых. По могильной плиты с именем высокородной Катержины нигде нет! Разрешите спросить вас, разве тот факт, что после смерти высокородного Петра мы не находим никаких следов и его супруги, это тоже случайность? Что? И это вы называете случайностью? Почему же нет могильной плиты? Случайно? Или дело тут именно в тех самых недостойных деяниях, из-за которых его милость король препоручил высокородного Ешека правосудию божьему?

— Вполне возможно, — уже не без интереса отозвался криминалист.

— Не возможно, а несомненно! — непререкаемо изрек Дивишек — А теперь все дело в том, кто же кого убил и как связаны между собой все эти факты. Смерть рыцаря Ешека нас не интересует, поскольку он пережил эти недостойные деяния. Иначе король Иржи не велел бы ему каяться. Нам надо выяснить, кто убил высокородного Петра, как погиб рыцарь Индржих, куда девалась высокородная Катержина и какое отношение имеет ко всему этому высокородный Ешек из Скалице.

— Погодите, — сказал Мейзлик. — Давайте-ка запишем всех участников:

1. Петр Берковец — убит.
2. Индржих Берковец — пал с оружием в руках, не так ли?
3. Катержина — бесследно исчезла.
4. Ешек из Скалице — препоручен правосудию божьему.

Так?

— Так, — помаргивая, сказал архивариус — Только надо бы говорить «высокородный Петр Берковец», «высокородный Ешек» и так далее. Итак...

— Мы исключаем возможность, что Ешек убил своего зятя Петра Берковца, потому что в этом случае он угодил бы под суд присяжных...

— Предстал бы перед королевским судом, — поправил архивариус. — В остальном вы правы.

— Погодите, тогда, стало быть, остается только брат Петра — Индржих. Вернее всего это он убил своего брата...

— Исключено! — проворчал архивариус. — Убей он брата, его не похоронили бы в церкви, да еще рядом с убитым.

— Ага, значит, Индржих только подстроил убийство Петра, а сам пал в какой-то схватке. Так?

— А почему же тогда рыцарь Ешек попал в опалу за свою вспыльчивость? — возразил архивариус, беспокойно ерзая на стуле. — И куда делась Катержина?

— М-да, в самом деле, — буркнул Мейзлик. — Слушайте-ка, а ведь это сложный случай. Ну, а допустим так Петр застиг Катержину *in flagranti* [*на месте преступления (лат.)*] с Индржихом и убил ее на месте. Об этом узнает отец и в приступе гнева убивает своего зятя...

— Тоже не выходит, — возразил Дивишек. — Если бы рыцарь Петр убил Катержину за супружескую измену, ее отец одобрил бы такую расправу. В те времена на этот счет было строго!

— Погодите-ка, — размышлял Мейзлик. — А может быть, он убил ее просто так, в ссоре...

Архивариус покачал головой.

— Тогда она была бы похоронена честь честью; под могильной плитой. Нет, и это не выходит. Я, сударь, уже год ломаю голову над этим случаем, и ни в какую!

— Гм... — Мейзлик в раздумье разглядывал «список участников». — Экая



чертовщина! А может быть, тут не хватает еще пятого участника дела?

— Зачем же пятый — укоризненно заметил Дивишек. — Вы и с четырьмя-то не можете разобраться...

— Ну, стало быть, один из двух — убийца Берковца: или его тесть, или его брат... Э-э, черт подери, — вдруг спохватился Мейзлик, — а что, если это Катержина?

— Батюшки мои! — воскликнул подавленный архивариус. — Я и думать об этом не хотел! Она — убийца, о господи! Ну и что же с ней потом случилось?

У Мейзлика даже уши покраснели от напряженной работы мысли.

— Минуточку! — воскликнул он, вскочил со стула и взволнованно зашагал по комнате. — Ага, ага, уже начинаю понимать! Черт подери, вот так случай! Да, все согласуется... Ешек здесь главная фигура!... Ага, круг замкнулся. Вот почему король Иржи... теперь мне все понятно! Слушайте-ка, он был голова, этот король!

— О да, — благоговейно подтвердил Дивишек. — Он, голубчик мой, был мудрым правителем.

— Так вот, слушайте, — начал Мейзлик, усаживаясь прямехонько на свою чернильницу. — Наиболее вероятная гипотеза следующая, я за нее голову даю на отсечение! Прежде всего надо сказать, что гипотеза, признаваемая приемлемой, должна включать в себя все имеющиеся факты. Ни одно самое мелкое обстоятельство не должно ей противоречить. Во-вторых, все эти факты должны найти свое место в едином и связном ходе событий. Чем он проще, компактнее и закономернее, тем больше вероятия, что дело было именно так, а не иначе. Это мы называем реконструкцией обстановки. Гипотезу, которая согласует все установленные факты в наиболее связном и правдоподобном ходе событий, мы принимаем как несомненную, понятно? — И Мейзлик строго взглянул на архивариуса. — Такова наша криминалистическая метода!

— Да, — послушно отозвался тот.

— Итак, факты, из которых нам нужно исходить, следующие. Перечислим их в последовательном порядке.

1. Петр Берковец взял себе в жены Катержину.
2. Он был убит.
3. Катержина исчезла, и могила ее не найдена.
4. Индржих погиб в какой-то вооруженной схватке,
5. Ешек Скалицкий за свою вспыльчивость попал в опалу.
6. Но король не предал его суду, следовательно, Ешек Скалицкий в какой-то мере был прав. Таковы все наличные факты, не так ли?

Теперь далее. Из сопоставления этих фактов следует, что Петра не убивали ни Индржих, ни Ешек. Кто же еще мог быть убийцей? Очевидно, Катержина. Это предположение подтверждается и тем, что могила Катержины не обнаружена. Вероятно, ее похоронили где-нибудь, как собаку. Но почему же ее не предали обычному суду? Видимо, потому, что какой-то вспыльчивый мститель убил ее на месте. Был это Индржих? Ясно, что нет. Если бы Индржих покарал Катержину смертью, старый Ешек, надо полагать, согласился бы с этим. С какой же стати король потом наказывал бы его за вспыльчивость? Таким образом, получается, что Катержину убил ее собственный отец в припадке гнева. Остается вопрос, кто же убил Индржиха в бою? Кто это сделал, а?

— Не знаю, — вздохнул подавленный архивариус.

— Ну, конечно, Ешек! — воскликнул криминалист. — Ведь больше некому. Итак, весь казус округлился, понятно? Вот, слушайте: Катержина, жена Петра Берковца... гм... вспылала, как говорится, греховной страстью к его младшему брату Индржиху...

— А это подтверждено документально? — осведомился Дивишек с живейшим интересом.

— Это вытекает из логики событий, — уверенно ответил д-р Мейзлик. — Я вам скажу так: причиной всегда бывают деньги или женщина, уж мы-то знаем! Насколько Индржих отвечал ей взаимностью, неизвестно. Но во всяком случае это и есть причина, побудившая

Катержину отправить своего мужа на тот свет. Говорю вам прямо, — громогласно резюмировал Мейзлик, — это сделала она!

— Я так и думал! — пригорюнился архивариус.

— Но тут на сцене появляется ее отец, Ешек Скалицкий, в роли семейной Немезиды. Он убивает дочь, чтобы не отдавать ее в руки палача. Потом он вызывает на поединок Индржиха, ибо сей несчастный молодой человек в какой-то мере повинен в преступлении единственной дочери Ешека и в ее гибели. Индржих погибает в этом поединке... Возможен, разумеется, и другой вариант: Индржих своим телом закрывает Катержину от разъяренного отца и в схватке с ним получает смертельный удар. Но первая версия лучше. Вот они, эти недостойные деяния! И король Иржи, понимая, сколь мало суд человеческий призван судить такой дикий, но справедливый поступок, мудро передает этого страшного отца, этого необузданного мстителя, правосудию божьему. Хороший суд присяжных поступил бы также... Через год старый Ешек умирает от горя и одиночества... скорее всего в результате инфаркта.

— Аминь! — сказал Дивишек, благоговейно складывая руки. — Так оно и было. Король Иржи не мог поступить иначе, насколько я его знаю. Слушайте, а ведь этот Ешек — замечательная, на редкость цельная натура, а? Теперь весь случай совершенно ясен. Я прямо-таки все вижу воочию. И как логично! — в восторге воскликнул архивариус. — Сударь, вы оказали исторической науке ценнейшую услугу. Эта драма бросает яркий свет на тогдашние нравы... и вообще... — Исполненный признательности, Дивишек, махнул рукой. — Когда выйдут мои «Очерки правления короля Иржи Подебрада», я разрешу себе послать вам экземпляр, сударь. Вот увидите, какое научное истолкование я дам этому прискорбному случаю.

Через некоторое время криминалист Мейзлик действительно получил толстенный том «Очерков правления короля Иржи Подебрада» с теплым авторским посвящением. Мейзлик прочитал том от корки до корки, ибо — скажем откровенно — был очень горд тем, что сделал вклад в историческую науку. Но во всей книге он не обнаружил ни строчки о драме в Вотице. Только на странице 471, в библиографическом указателе, Мейзлик прочитал следующее: «Шебек Ярослав, „Извлечения из документов XIV и XV столетия“, стр. 213, письмо дворянина Ладислава Пхача из Олешпы дворянину Яну Боршовскому из Черчан. Особого внимания заслуживает интересное, научно еще не истолкованное упоминание о Ешеке Скалицком из Скалице.»

## Рекорд

— Господин судья, — рапортовал полицейский вахмистр Гейда участковому судье Тучеку, — разрешите доложить: случай серьезного членовредительства... Черт побери, ну и жара!

— А вы располагайтесь поудобнее, — посоветовал судья.

Гейда поставил винтовку в угол, бросил каску на пол, снял портупею и расстегнул мундир.

— Уф, — сказал он. — Проклятый парень! Господин судья, такого случая у меня еще не было. Взгляните-ка, — с этими словами вахмистр поднял тяжелый сверток, развязал узлы синего носового платка и вынул камень величиной с человеческую голову. — Вы только взгляните, — настойчиво повторил он.

— А что тут особенного? — спросил судья, тыча карандашом в камень. — Простой булыжник, а?

— Да к тому же увесистый, — подтвердил Гейда. — Итак, позвольте доложить, господин судья: Лисицкий Вацлав, девятнадцати лет, работающий на кирпичном заводе, проживающий там же... записали? — швырнул прилагаемый камень — вес камня пять килограммов девятьсот сорок девять граммов — во Франтишека Пудила, земледельца, проживающего в поселке Дольний Уезд, дом номер четырнадцать... записали? — попав

Пудилу в левое плечо, в результате чего потерпевший получил повреждение сустава, переломы плечевой кости и ключицы, открытую рваную рану плечевых мышц, разрыв сухожилий и мышечного мешка... записали?

— Да, — сказал судья. — А что ж в этом особенного?

— Вы удивитесь, господин судья, — торжественно объявил Гейда, — когда я расскажу вам все по порядку. Три дня назад за мной послал этот самый Пудил. Вы его, впрочем, знаете, господин судья.

— Знаю, — подтвердил Тучек. — Мы его два раза притягивали к суду: один раз за ростовщичество, а другой... гм...

— Другой раз за недозволенные азартные игры. Так вот, у этого самого Пудила в усадьбе есть черешневый сад, который спускается к самой реке, как раз у излучины, где Сазава шире, чем в других местах. Итак, Пудил послал за мной — с ним, мол, случилось несчастье. Прихожу. Он лежит в постели, охает и ругается. Так и так, вчера вечером он будто бы вышел в сад и застиг на дереве какого-то мальчишку, который совал в карманы черешни. Этот Пудил за себя постоит. Он снял ремень, стащил мальчика за ногу и давай его полосовать. А тут кто-то и закричи ему с другого берега: «Оставь мальчишку в покое, Пудил!» Пудил немного близорук, наверное от пьянства. Посмотрел он на тот берег, видит, там кто-то стоит и глазеет на него. Для верности Пудил закричал: «А тебе что за дело, бродяга?» — и давай еще сильнее лупцевать мальчишку. «Пудил! — кричит человек на том берегу, — отпусти мальчишку, слышишь?» Пудил подумал: «Что он мне может сделать?» — и отвечает: «Поди-ка ты к такой-то матери, дубина!» Только сказал он это, как почувствовал страшный удар в левое плечо и грохнулся наземь. А человек на том берегу кричит: «Вот тебе, скупердяй чертов!» И, представьте себе, Пудил даже встать не смог, пришлось его унести. Рядом с ним лежал этот булыжник. Ночью послали за доктором, тот хотел отправить Пудила в больницу, потому что у него разбиты все кости и левая рука навсегда изуродована. Но Пудил не согласился, ведь сейчас уборка урожая. Утром посылает он за мной и просит арестовать негодяя, который его изувечил. Ладно. Но когда мне показали этот камень, я прямо глаза вытаращил. Это булыжник с примесью колчедана, так что он даже тяжелее, чем кажется. Попробуйте. Я на глаз определил вес в шесть кило и ошибся только на пятьдесят один грамм. Швырнуть такой камень — это надо уметь! Пошел я посмотреть на сад и на реку. Гляжу: от того места, где упал Пудил — там примята трава, — до воды еще метра два, а река, господин судья, в излучине не уже четырнадцати метров. Я так и подпрыгнул, поднял крик и велел немедленно принести мне восемнадцать метров шпагата. Потом в том месте, где упал Пудил, вбил колышек, привязал к нему шпагат, разделся, взял в зубы другой конец веревки и переплыл на тот берег. И что бы вы сказали, господин судья: ее едва хватило. А ведь надо еще прикинуть несколько метров до насыпи, по которой проходит тропинка, где стоял Вацлав Лисицкий. Я три раза промерял — от моего колышка до тропинки ровно девятнадцать метров двадцать семь сантиметров.

— Милый человек, — возразил судья, — это же невозможно. Девятнадцать метров — такое громадное расстояние. Слушайте, может быть, он стоял в воде, посреди реки.

— Мне это тоже пришло в голову, — сказал Гейда. — Но дело в том, что в той излучине у самого берега обрыв и глубина больше двух метров. А в насыпи еще осталась ямка от этого камня. Насыпь-то выложена булыжником, чтобы ее не размывала вода, вот Лисицкий и вытащил один такой камень. Швырнуть его он мог только с тропинки, потому что из воды это невозможно, а на крутой насыпи он бы не удержался. А это значит, что он покрыл расстояние девятнадцать метров двадцать семь сантиметров. Представляете себе?

— Может быть, у него была праща? — неуверенно сказал судья.

Гейда укоризненно взглянул на собеседника.

— Господин судья, вы, наверное, не держали в руках пращи. Попробуйте-ка метнуть из нее шестикилограммовый камень! Для этого понадобилась бы катапульта. Я два дня возился с этим камнем: все пробовал метнуть его из петли, знаете, вот так — закрутить и кинуть с

размаху. Ничего не выходит, камень вываливается из любой петли. Нет, господин судья, это было самое настоящее толкание ядра. И знаете, какое? Мировой рекорд, вот что! — воскликнул взволнованный Гейда.

— Да бросьте! — поразился судья.

— Мировой рекорд! — торжествующе повторил Гейда. — Спортивное ядро, правда, немного тяжелее, в нем семь кило. В нынешнем году рекорд по толканию ядра — шестнадцать метров без нескольких сантиметров. А до этого в течение девятнадцати лет рекорд держался на пятнадцати с половиной метрах. Только нынче какой-то американец — не то Кук, не то Гиршфельд толкнул почти на шестнадцать. Допустим, что шестикилограммовым ядром он мог бы покрыть восемнадцать, ну, девятнадцать метров. А у нас здесь на двадцать семь сантиметров больше. Господин судья, этот парень без всякой тренировки толкнул бы спортивное ядро не меньше, чем на шестнадцать с четвертью метров! Мать честная, шестнадцать с четвертью метров! Я давно занимаюсь этим спортом, господин судья, еще на войне ребята, бывало, звали меня на подмогу: «Гейда, забрось-ка туда ручную гранату!» Однажды во Владивостоке я состязался с американскими моряками и толкнул на четырнадцать метров, а их судовой священник перекрыл меня на четыре сантиметра. В Сибири, вот где была практика! Но этот булыжник, господин судья, я бросил только на пятнадцать с половиной метров. Больше ни в какую! А тут девятнадцать метров! Черт побери, сказал я себе, надо найти этого парня, он поставит нам мировой рекорд. Представляете себе — перекрыть американцев!

— Ну, а что с тем Пудилом? — осведомился судья.

— Черт с ним, с Пудилом! — воскликнул Гейда. — Я объявил розыск неизвестного лица, поставившего мировой рекорд. Это в интересах всей страны, не правда ли? Поэтому я прежде всего гарантировал безнаказанность виновному.

— Ну, это уж зря, — запротестовал судья.

— Погодите. Безнаказанность при том условии, что он перебросит шестикилограммовый камень через Сазаву. Всем окрестным старостам я объяснил, какое это замечательное спортивное достижение, о нем, мол, будут писать во всех газетах мира, а рекордсмен заработает кучу денег. Вы бы видели, что после этого началось! Все окрестные парни бросили жать, сбегались к насыпи и давай швырять камни на тот берег. Там уже не осталось ни одного булыжника. Теперь они разбивают межевые камни и каменные ограды, чтобы было чем кидать. А все деревенские мальчишки только тем и заняты, паршивцы, что кидают камнями, пропасть кур перебили... А я стою на насыпи и наблюдаю. Ну, конечно, никто не докинул дальше, чем до середины реки... Наверно, уже русло наполовину засыпали.

Вчера вечером приводят ко мне того парня, что будто бы угостил Пудила булыжником. Да вы его увидите, он ждет здесь. «Слушай, Лисицкий, — говорю я ему, — так это ты бросил камнем в Пудила?» — «Да, — отвечает он, — Пудил меня облаял, я осерчал, а другого камня под рукой не было...» — «Так вот тебе другой такой же камень, — говорю я, — кинь его на тот берег, а если не докинешь, я тебе покажу, голубчик, где раки зимуют». Взял он камень, — ручки у него, как лопаты, — стал на насыпи и размахнулся. Я наблюдаю за ним: техники у него никакой, о стиле броска понятия не имеет, руками и корпусом не работает. И все же махнул камень на четырнадцать метров! Это очень прилично, однако же... Я его поучаю: «Ты, недотепа, надо стать вот так, правое плечо назад, и, когда бросаешь, сделать замах этим плечом. Понял?» — «Понял», — говорит он, скривившись как Ян Непомуцкий, и бросает камень... на десять метров.

Тут я рассвирепел, понимаете ли. «Ты, бродяга, — кричу на него, — разве это ты попал камнем в Пудила? Врешь!» — «Господин вахмистр, — отвечает он, — бог свидетель, я в него угодил! Пускай Пудил встанет там еще раз, я ему, собаке, снова влеплю». Я бегу к Пудилу, объясняю, что речь идет о мировом рекорде, прошу, чтобы он пошел на берег и опять ругнул этого парня, а тот в него кинет камнем. Куда там, вы не поверите, Пудил ни в какую. У этих людей совсем нет высоких идеалов...

Я опять к Лисицкому. «Ты обманщик, — кричу на него, — это вранье, что ты изувечил Пудила. Пудил сказал, что это не ты». — «Врет он, — отвечает Лисицкий, — это я». — «Докажи, — требую я, — добрось туда камень». А он почесывается и смеется: «Господин вахмистр, зря не умею. А в Пудила попаду, я на него зол». — «Слушан, — уговариваю я его, — если докинешь камень, отпущу тебя по-хорошему. Не докинешь — пойдешь в кутузку за нанесение увечья. Полгода отсидишь». — «Ну и пусть, если зимой», — отвечает он. Тут я его арестовал именем закона. Он сейчас ждет здесь, в сенях. Господин судья, добейтесь от него, правда ли он бросил камень, или только бахвалится. Наверное он, бродяга, отопрется. Тогда надо припаять ему хоть месяц за обман властей или за мошенничество. В спорте не должно быть обмана, за это надо строго карать, господин судья. Я его сейчас приведу.

— Так это вы Вацлав Лисицкий? — сурово спросил судья, воззрившись на белобрысого арестанта. — Признаетесь вы в том, что с намерением совершить членовредительство бросили этим камнем во Франтишка Пудила и нанесли ему серьезное увечье?

— Господин судья, — заговорил парень, — дело было так: Пудил там молотил мальчишку, а я ему кричу через реку, чтобы бросил, а он давай меня честить...

— Бросили вы этот камень или нет? — рассердился судья.

— Бросил, — сокрушенно ответил парень. — Да ведь он меня ругая, а я хватя тот камень...

— Проклятье! — воскликнул судья. — Зачем вы лжете, голубчик? Знаете ли вы, что ложные показания строго караются законом? Нам хорошо известно, что не вы бросили этот камень.

— Извиняюсь, бросил, — бормотал парень, — так ведь Пудил-то меня послал... знаете куда?

Судья вопросительно посмотрел на вахмистра Гейду. Тот беспомощно пожал плечами.

— Разденьтесь! — гаркнул судья на арестанта. — Быстро! И штаны тоже!

Через минуту верзила стоял перед ним в чем мать родила и трясся от страха, думая, что его будут пытаться — для того и велели раздеться.

— Взгляните, Гейда, на его дельтовидную мышцу, — сказал судья. — И на двуглавую. Что вы скажете?

— Недурны, — тоном знатока отозвался Гейда. — Но брюшные мышцы недостаточно развиты. А для толканья ядра требуются мощные брюшные мышцы, господин судья. Они вращают корпус. Взглянули бы вы на мои брюшные мышцы!

— Нет, все-таки живот неплох, — бормотал судья. — Вот это живот. Вон какие бугры. Черт возьми, вот это грудная клетка! — И он ткнул пальцем в рыжие заросли на груди подсудимого. — Но ноги слабы. У этих деревенских всегда слабые ноги.

— Потому что они не тренируются, — критически заметил Гейда. — Разве это ноги? У метателя ядра ноги должны быть одно загляденье.

— Повернитесь! — крикнул судья на парня. — Ну, а какова, по-вашему, спина?

— Наверху от плеч хороша, — заявил Гейда, — но внизу ерунда, просто пустое место. В таком корпусе не может быть мощного замаха. Нет, господин судья, он не бросал камня.

— Одевайтесь! — рявкнул судья на Лисицкого. — Вот что, в последний раз: бросили вы камень или нет?

— Бросил! — с ослиным упрямством твердил парень.

— Идиот! — крикнул судья. — Если вы бросили камень, значит вы совершили членовредительство, и за это краевой суд упечет вас на несколько месяцев в тюрьму. Бросьте дурачить нас и признайтесь, что все это выдумка. Я дам вам только три дня за обман должностных лиц, и отправляйтесь восвояси. Ну так как же: бросили вы камнем в Пудила или нет?

— Бросил, — насупившись, сказал Вацлав Лисицкий. — Он меня с того берега крыл почем зря...

— Уведите его, — закричал судья. — Проклятый обманщик!



Через минуту Гейда снова просунул голову в дверь.

— Господин судья, — сказал он мстительно, — припаяйте ему еще за порчу чужого имущества: он вынул булыжник-то из насыпи, а теперь, там не осталось ни одного камешка.

## Дело Сельвина

— Гм — мой самый большой успех, то-есть такой, который доставил мне самую большую радость? — Старый маэстро Леонард Унден, великий писатель, лауреат Нобелевской премии и прочее и прочее, погрузился в воспоминания. — Ах, молодые мои друзья, в моем возрасте уже мало обращаешь внимания на все эти лавры, оvationи, на любовниц и тому подобные глупости, тем паче когда все это уже кануло в вечность... Пока человек молод, он радуется всему, — и был бы ослом, если б не делал этого; но в молодости обычно нет средств на то, чтобы доставлять себе радость. В сущности, жизнь должна бы строиться наоборот; сначала человеку следовало бы быть старым, отдаваться целиком своему любимому делу, поскольку ни на что другое он не годился бы: и лишь под конец добирался бы он до молодости, чтоб пользоваться плодами своей долгой жизни... Ну вот, совсем заболтался старик! О чем же это я хотел говорить? Ах да, о моем самом большом успехе. Так вот, таким успехом я не считал ни одну из моих книг или пьес, хотя в свое время мои сочинения действительно читались; величайшим моим успехом было дело Сельвина.

Вы, конечно, уже вряд ли помните, в чем это дело заключалось — с тех пор прошло двадцать шесть... или нет, двадцать девять лет. Итак, двадцать девять лет тому назад в один прекрасный день пришла ко мне седовласая, маленькая такая дама в черном; и прежде чем я успел — со всей моей приветливостью, в ту пору весьма высоко ценимой, — спросить, что ей нужно, она — бух на колени и заплакала; не знаю, как вы — я не выношу вида плачущей женщины... — Сударь, — сказала эта добрая мамаша, когда я немножко ее успокоил, — вы писатель; заклиная вас вашей любовью к людям — спасите моего сына! Вы, конечно, знаете из газет про дело Сельвина.

Вероятно, я походил в ту минуту на младенца, хотя и бородатого, — разумеется, я читал газеты, но дело Сельвина как-то пропустил. Насколько можно было понять мою посетительницу, продолжавшую рыдать и вздыхать, заключалось дело в следующем: единственный ее сын, двадцатидвухлетний Франк Сельвин, только что был приговорен к пожизненному одиночному заключению за то, что убил с целью ограбления свою тетку Софию; отягчающим обстоятельством в глазах присяжных было то, что он в преступлении не сознался.

«Он невиновен, сударь! — рыдала пани Сельвинова. — Клянусь вам, он невиновен! В этот злосчастный вечер он сказал мне: „Маменька, у меня болит голова, пойду прогуляюсь за город“. Поэтому-то, сударь, он и не может доказать свое алиби! Кто же ночью обратит внимание на молодого человека, даже если случайно и встретит его? Мой Франтик немножко легкомысленный; но ведь и вы были молоды! Вдумайтесь, сударь, ему только двадцать два года! Можно ли так губить всю жизнь молодому человеку?» — ну и так далее. Послушайте, если бы вы видели эту сломленную горем седую женщину, вы тоже поняли бы то, что тогда понял я: одну из самых тяжких мук доставляет нам бессильное сострадание. Что вам сказать — я обещал в конце концов ей сделать все возможное и не отступаться, пока не разберусь в этом деле: и дал честное слово, что верю в невиновность ее сына. При этих словах она чуть ли не целовала мне руки... Когда бедняжка благословляла меня, я сам чуть не встал перед ней на колени. Представляете, какой дурацкий вид у человека, если его благодарят, словно бога...

Ладно — с той минуты интересы Франка Сельвина стали моими кровными интересами. Прежде всего я изучил судебные документы. Честное слово, я в жизни не видал подобного головотяпства! То был просто юридический скандал. Само дело было, в сущности, несложно: как-то ночью служанка этой самой тетки Софии, пятидесятилетняя Анна Соларова, личность психически неполноценная, услышала шаги в комнате барышни, то есть

тетки Софии. Она пошла узнать, почему барышня не спит, и, войдя в спальню, увидела, как через распахнутое окно выпрыгнул в сад какой-то мужчина. Служанка подняла страшный крик, и, когда явились соседи со светом, на полу нашли барышню Софию, задушенную ее собственным полотенцем; ящик комода, где она держала деньги, был выдвинут, часть белья выброшена, но деньги оказались на месте — видимо, служанка спугнула убийцу в тот самый момент, когда он до них добрался. Таковы были факты.

Франка Сельвина арестовали на другой же день, так как служанка показала, что узнала «молодого барина», когда он прыгал из окна. Установили, что в этот час дома его не было: он вернулся примерно полчаса спустя и сразу лег спать. Далее выяснилось, что у глупого мальчишки были кое-какие долги. Затем объявилась какая-то сплетница, которая с важным видом показала, будто за несколько дней до убийства тетка София рассказывала, что к ней приходил племянник Франтик и просил займы несколько сотен; и когда она отказала — ибо была невероятно скупа, — Франк будто бы бросил: «Берегитесь, тетя, как бы не случилось такого, что все ахнут!» Вот все, что было известно о Франке.

Теперь обратимся к самому процессу: он занял всего-навсего полдня. Франк Сельвин просто твердил, что он невиновен, что он уходил гулять, после чего прямоком отправился домой и лег спать. Никто из свидетелей не был подвергнут перекрестному допросу. Адвокат Франка — назначенный, конечно, *ex officio* [по должности (лат.).] — у пани Сельвиновой не было денег, чтобы нанять лучшего, — ограничился тем, старая шляпа и идиот, что указывал на молодость своего безрассудного подзащитного и со слезами на глазах просил снисхождения у великодушных присяжных. Прокурор тоже не дал себе много труда; он обрушился на присяжных, напоминая им, что накануне они же вынесли два оправдательных приговора, и в какую же, мол, пропасть скатится человечество, если народные судьи по своей безответственной снисходительности и мягкости будут оставлять безнаказанным всякое преступление? Присяжные, видимо, вняли этому аргументу и пожелали показать, что их никак нельзя обвинить в снисходительности и мягкости; одиннадцатью голосами они попросту признали Франка Сельвина виновным в убийстве. Вот и все дело.

Так вот, когда я все это установил, я просто пришел в отчаяние; все во мне так и кипело, хотя я не юрист, — а может быть, именно потому. Вы только представьте: главная свидетельница — психически неполноценна, к тому же ей пятьдесят лет, то есть у нее наступил, повидимому, период климакса, что не может не снизить достоверность ее показаний. Мужчину в окне она видела ночью; как я позднее выяснил, ночь тогда была теплой, но очень темной; следовательно, эта женщина не могла бы даже приблизительно кого-либо разглядеть. В темноте нельзя с точностью определить даже рост человека — это я тщательно проверил на себе самом. Ко всему прочему служанка эта ненавидела «молодого барина», то есть Франка Сельвина, причем совершенно истерической ненавистью, за то, что он-де над ней насмеялся: он называл ее белорукой Гебой, что Анна Соларова считала почему-то смертельным оскорблением.

Второе обстоятельство: тетка София ненавидела свою сестру пани Сельвинову, и они, строго говоря, даже не общались друг с другом; старая дева слышать не могла имени Франковой матери. Так что если тетка София утверждала, что Франк ей чем-то угрожал, то это вполне можно было приписать ядовитому нраву старой девы, выдумавшей эту сплетню, чтоб унижить сестру. Что же до самого Франка, то это был малый средних способностей, служивший письмоводителем в какой-то конторе; была у него девушка, которой он писал сентиментальные письма и плохие стихи, а в долги он залез, как говорится, не по своей вине: он пил из той же сентиментальности. Мать его была женщина превосходная и несчастная, снедаемая раком, бедностью и горем. Вот как выглядели обстоятельства при ближайшем рассмотрении.

Эх, если бы вы знали меня в пору цветущей зрелости! Когда я приходил в азарт, то не помнил себя. Я опубликовал в газетах серию статей под заголовком «История Франка Сельвина»; пункт за пунктом я разоблачил несостоятельность свидетелей, особенно главной свидетельницы; анализировал противоречия в свидетельских показаниях и предвзятость

некоторых из них; доказал абсурдность утверждения, что главная свидетельница могла опознать убийцу; обнажил полную неспособность председателя суда и грубую демагогию обвинительной речи прокурора. Но этого мне было мало: раз взявшись за дело, я стал громить уже все наше правосудие, уголовный кодекс, институт присяжных, весь равнодушный и эгоистический общественный строй. Не спрашивайте, какой тут поднялся шум; к тому времени у меня уже было кое-какое имя, за мной стояла молодежь, — как-то вечером перед зданием суда была даже устроена демонстрация. Тогда ко мне прибежал адвокат Сельвина и, ломая руки, запричитал: мол, что же это я натворил, он-де уже подал кассацию, опротестовал приговор, и Сельвину наверняка сократили бы срок до двух-трех лет тюрьмы, а теперь — не могут же высшие инстанции уступить давлению улицы, они отклонят все его ходатайства! Я сказал почтенному юристу, что дело уже не в одном только Сельвине, что мне важно восстановить истину и справедливость.

Адвокат оказался прав; апелляция была отклонена, но и председателя суда отправили на пенсию. Милые мои, вот тогда-то с удвоенной энергией я ринулся в бой. Знаете, я и сегодня скажу, что это была святая борьба за справедливость. Посмотрите — с тех времен у нас многое стало лучше; так признайте же в этом хоть частичку и моей, старика, заслуги! Дело Сельвина переключалось в мировую печать. Я выступал с речами на рабочих собраниях и на международных конгрессах перед делегатами со всего мира. «Пересмотрите дело Сельвина» было в свое время таким же международным лозунгом, как, например, «Разоружайтесь» или «Votes for women» [*Право голоса для женщин (англ.)*]. Если говорить обо мне, то это была борьба отдельной личности против государства; но за мной была молодость. Когда скончалась матушка Сельвина, за гробом этой маленькой иссохшей женщины шло семнадцать тысяч человек, и я говорил над открытой могилой, как не говорил никогда в жизни; бог знает, друзья, что за страшная и странная сила — вдохновение...

Семь лет вел я борьбу; и эта борьба сделала меня тем, что я есть. Не книги мои, а дело Сельвина доставило мне всемирную известность. Я знаю, меня называют Глас Совести, Рыцарь Правды и как-то еще; что-нибудь в этом роде напишут и на моем надгробном камне. Лет через четырнадцать после моей смерти в школьных учебниках наверняка будут писать о том, как боролся за правду писатель Леонард Унден, — а потом и об этом забудут...

На седьмой год умерла главная свидетельница Анна Соларова; перед смертью она исповедалась и с плачем созналась, что ее мучат угрызения совести, потому что тогда, на суде, она дала ложную присягу, ибо не могла сказать по правде, был ли убийца в окне действительно Франком Сельвином. Добрый патер поспешил ко мне; я к тому времени уже лучше понимал взаимосвязь вещей в этом мире, поэтому не стал обращаться в газеты, а направил моего патера прямо в суд. Через неделю вышло решение о пересмотре дела. Через месяц Франк Сельвин снова предстал перед судом; лучший адвокат, выступавший бесплатно, не оставил от обвинения камня на камне; затем поднялся прокурор и рекомендовал присяжным оправдать подсудимого. И те двенадцатью голосами вынесли решение, что Франк Сельвин невиновен.

Да, то был величайший триумф в моей жизни. Никакой другой успех не приносил мне столь чистого удовлетворения — и вместе с тем какого-то странного ощущения пустоты; по правде сказать, мне уже немного недоставало дела Сельвина — после него осталась какая-то брешь... Как-то — это было на следующий день после суда — входит ко мне вдруг моя горничная и говорит, что какой-то человек хочет меня видеть.

— Я Франк Сельвин, — сказал этот человек, остановившись в дверях... И мне стало... не знаю, как это выразить — я почувствовал какое-то разочарование оттого, что этот мой Сельвин похож на... скажем, на агента по распространению лотерейных билетов: немного обрюзгший, бледный, начинающий лысеть, слегка потный — и невероятно будничным... Вдобавок, от него разило пивом.

— Прославленный маэстро! — пролепетал Франк Сельвин (представьте, он так и выразился — «прославленный маэстро», я готов был дать ему пинка!), — я пришел поблагодарить вас... как моего величайшего благодетеля... — Казалось, он затвердил эту

речь наизусть. — Вам я обязан всей моей жизнью... Все слова благодарности бессильны...

— Да будет вам, — поторопился я прервать его, — это был мой долг; коль скоро я убедился, что вы осуждены безвинно... Франк Сельвин покачал головой.

— Маэстро, — грустно промямлил он, — не хочу лгать моему благодетелю: старуху-то действительно убил я.

— Так какого же черта! — вскричал я. — Почему же вы не признались на суде?!

Он посмотрел на меня с упреком:

— А это было мое право, маэстро; обвиняемый имеет право отпираться, не так ли? Признаюсь, я был раздавлен.

— Так что же вам от меня надо? — буркнул я.

— Я пришел лишь поблагодарить вас, маэстро, за ваше благородство, — проговорил он уныло полагая, вероятно, что этот тон выражает его растроганность. — Да матушку мою вы не оставили в беде... Благослови вас бог, благородный бард...

— Вон! — гаркнул я вне себя; он скатился с лестницы как ошпаренный.

Через три недели Сельвин остановил меня на улице; он был слегка под хмельком. Я не мог от него отвязаться; долго не понимал я, чего он хочет, пока он не объяснил мне наконец, придерживая меня за пуговицу. Объяснил, что я, в сущности, испортил все дело; если б я не писал так о его процессе, кассационный суд принял бы протест его адвоката, и ему, Сельвину, не пришлось бы сидеть семь лет понапрасну; так чтоб я теперь вошел в его стесненное положение, коему сам был причиной, занявшись его делом... Короче, пришлось сунуть ему сотню-другую.

— Благослови вас бог, благодетель, — сказал он с увлажненным взором.

В следующий раз он вел себя более угрожающе. Я-де успел погреть руки на его деле; защищая его, я-де обрел славу, так с какой же стати и ему самому на этом не подработать? Я никак не мог доказать, что вовсе не обязан платить ему никаких комиссионных; короче говоря, я снова дал ему денег.

С той поры он стал появляться у меня через небольшие промежутки времени; садился на софу и вздыхал, что теперь его мучат угрызения совести, зачем он уколошил старуху. «Пойду, отдам себя в руки правосудия, маэстро, — говорил он мрачно. — Только для вас это будет позор на весь мир. Не знаю, как мне обрести покой...» Страшная это, наверное, штука, угрызения совести — если сулить по тому, сколько денег выплатил я этому типу, лишь бы он мог сносить их и дальше. В конце концов я купил ему билет в Америку; обрел ли он там покой, не знаю.

Так вот это и был мой величайший успех; молодые мои друзья, когда будете сочинять некролог Леонарду Ундену, напишите, что, защищая Сельвина, он золотыми письменами вписал свои имя в... и так далее; вечная ему благодарность.

## Следы

Той ночью пан Рыбка возвращался домой в самом радужном настроении — во-первых, потому, что выиграл свою партию в шахматы («Превосходный мат конем», — всю дорогу восхищался он), а во-вторых, оттого, что свежевывавший снег мягко хрустел под ногами в пустынном ночном безмолвии. «Господи, красота-то какая! — умилился пан Рыбка, — город под снегом вдруг привидится этаким маленьким, старосветским городишком — тут и в ночных сторожей, и в почтовые кареты не трудно поверить. Вот поди ж ты, ведь испокон веков снег выглядит так по-старинному и по-деревенски».

Хруп, хруп, пан Рыбка выискивал непримятую тропку, и все не мог нарадоваться, слушал этот приятный хруст. Жил он в тихой окраинной улочке, а потому, чем дальше шел, тем следов становилось все меньше. «Смотри-ка, у этой калитки свернули мужские башмаки и женские туфельки, скорее всего — это супруги. Интересно, молодые ли? — размягченно



подумал пан Рыбка, словно желая благословить их. — А вон там перебежала дорогу кошка, на снегу видны отпечатки лапок, похожие на цветочки; спокойной ночи, киска, уж и зазябнут у тебя нынче ножки». А теперь осталась только одна цепочка следов мужских, глубоких, ровная и отчетливая борозда, проведенная одиноким путником. «Кто же это мог забрести сюда? — спросил себя пан Рыбка с дружеским участием, — здесь так мало людей, ни одной протоптанной стежки на снегу, это ведь — окраина жизни, вот добреду до дома, улочка до самого носа укроется белой периной, и покажется ей, будто она — детская игрушка. Обидно, что уже утром эту белизну нарушит почтальонша с газетами; она-то уж испещрит тут все вдоль и поперек, как заяц...»

Пан Рыбка внезапно остановился: собравшись пересечь беленькую улочку и пройти к своей калитке, он увидел, что следы, оставленные кем-то, свернули с тротуара и тоже направились к его воротцам. «Кто же это приходил ко мне?» — поразился пан Рыбка и проследил взглядом направление четких отпечатков. Их было пять; точно посередине улицы они кончались явственным оттиском левой ноги, а дальше не было ничего, лишь нетронутый чистый снег.

«Дурак я, дурак, — подумал пан Рыбка, — видно, прохожий вернулся на тротуар!» Однако — насколько хватало взгляда — тротуар был ровно застелен пышным снежным покровом без единого человеческого следа. «Черт побери, — подивился пан Рыбка, — скорее всего, следы обнаружатся на противоположной стороне!» И он обогнул оборвавшуюся цепь следов; но на противоположной стороне тоже не было ни единого отпечатка; вся улица светилась целомудрием пушистого снега, так что от этой чистоты захватывало дух; с тех пор как выпал снег, здесь не проходил никто. «Странно, — бормотал пан Рыбка, — видно, прохожий вернулся на тротуар, ступая по своим прежним следам; но тогда он должен был пятиться до самого перекрестка, потому как, начиная оттуда, я увидел перед собой *эти отпечатки*, именно они вели сюда, а других следов не было... Да, но к чему это было делать? — изумился пан Рыбка. — И как, идя задом наперед, пешеход ухитрился попадать точно в свой след?»

Недоуменно качая головой, пан Рыбка отворил калитку и вошел в дом; понимая, что это глупость, он все-таки решил осмотреть, нет ли *внутри* дома ошметков снега; разумеется, откуда бы им там взяться! «Наверное, померещилось! — обеспокоенно буркнул пан Рыбка и высунулся из окна; на улице в свете фонаря он ясно различил пять четких, глубоких отпечатков, обрывающихся посреди улицы; и ничего больше. „Гром их разрази!“ — чертыхнулся пан Рыбка и протер глаза. — Когда-то мне попадался рассказик о единственном отпечатке на белом снегу; но здесь их — несколько, а дальше — пустота. Куда же этот тип подевался?»

Не переставая недоуменно качать головой, пан Рыбка принялся раздеваться, но вдруг передумал и, подняв трубку телефона, сдавленным голосом попросил полицейский участок:

— Алло, это комиссар Бартошек? Знаете, тут такое *странное* дело, *очень* странное... Не могли бы вы послать кого-нибудь, или лучше придите сам... Хорошо, я подожду на углу. О чем речь, затрудняюсь сказать... Нет, по-моему, опасности нет, важно только, чтобы эти следы никто не затоптал. *Чьи* следы, неизвестно! Так, значит, я вас жду.

Пан Рыбка оделся и снова вышел на улицу; осторожно обогнул следы, стараясь не затоптать их даже на тротуаре. На углу, дрожа от холода и возбуждения, стал поджидать комиссара Бартошека. Было тихо, и земля, населенная людьми, покойно светилась во вселенной.

— Какая здесь приятная тишина, — меланхолично заметил подошедший комиссар Бартошек. — А в отделении мне пришлось унимать драчунов и возиться с пьяницей. Тьфу! Так что у вас?

— Проследите за этими отпечатками на снегу, — произнес пан Рыбка дрожащим от волнения голосом. — Это недалеко, всего в двух шагах.

Комиссар осветил дорогу электрическим фонариком.



— Ничего себе дылда; наверно, метр восемьдесят, — ответил он, — судя по величине следа и размаху шагов. Сапоги приличные, по-моему, ручной работы. Пьян он не был и шагал довольно твердо. Я не понимаю, что вам в них не понравилось?

— Вот это, — коротко ответил пан Рыбка и указал на цепь следов, оборвавшуюся посреди улицы.

— А-а, — прогудел комиссар Бартошек, не долго думая, присел на корточки возле последнего следа и посветил себе фонариком.

— Ничего особенного, — удовлетворенно проговорил он, — совершенно нормальный, рельефный след. Центр тяжести приходится скорее на пятку. Сделай он еще шаг либо прыжок, центр тяжести был бы перенесен на кончики пальцев, понятно? И это тоже было бы видно.

— Значит... — весь напрягшись, спросил пан Рыбка.

— Да, спокойно подтвердил комиссар, — это значит, что дальше он не сделал ни шагу.

— Куда же он делся? — в необычайном волнении вырвалось у Рыбки.

Комиссар пожал плечами.

— Не могу знать. Вы что... подозреваете кого-нибудь?

— Какое подозрение? — поразился пан Рыбка. — Любопытно только, куда он делся. Посудите сами: выходит, вот тут он сделал последний шаг, а куда же, ответьте Христа ради, шагнул потом? Ведь здесь больше нет никаких отпечатков?

— Сам вижу, — сухо сказал комиссар. — А вам-то не все ли равно, куда он шагнул? Или это кто-нибудь из ваших близких? Уж не пропал ли кто? Нет? Но тогда, черт побери, какое вам дело, куда он провалился?

— Но все-таки... хорошо бы выяснить... — пролепетал пан Рыбка. — Вы не находите, что он двинулся обратно по своим собственным следам?

— Чепуха, — буркнул комиссар. — Когда человек движется задом наперед, шаги у него короче и ноги он расставляет шире, чтобы не потерять равновесия; кроме того, он не поднимает ног, так что на снегу были бы вырыты целые канавы. А тут ступили только один раз. Видите, какой отчетливый отпечаток?

— Но если он не возвращался, — упрямо твердил свое пан Рыбка, — то куда же он пропал?

— Это уж его забота, — ворчал пан комиссар. — Послушайте, коли он ничего не натворил, мы не имеем права вмешиваться! Для этого надо, чтоб на него *донесли*; только тогда мы можем начать предварительное расследование...

— Но разве бывает, чтоб человек взял да провалился, посреди улицы? — не переставал удивляться пан Рыбка.

— Давайте подождем, сударь, — посоветовал невозмутимый комиссар. — Ежели кто исчез, то через несколько дней об этом заявит его семья либо кто другой; вот тогда мы и начнем розыски. А покуда ничего не обнаружено, нам делать нечего. Не положено.

В душе пана Рыбки поднималось мрачное чувство гнева.

— Простите, — язвительно проговорил он, — но по-моему, полиция обязана-таки немножко поинтересоваться тем, как это ни с того ни с сего мирный пешеход провалился посередине улицы!

— Да ведь с ним ничего плохого не случилось, — успокаивал Рыбку пан Бартошек, — тут никаких признаков драки... Ведь если бы на него напали, уволокли, то понатоптали бы столько следов... Крайне сожалею, сударь, но я ничем не могу быть вам полезен.

— Однако, пан комиссар, — всплеснул руками пан Рыбка, — вы хоть растолкуйте мне... это ведь какая-то загадка...

— Пожалуй, — задумчиво согласился пан Бартошек. — Но вы не можете себе представить, сколько на свете разных загадок. Каждый дом, каждая семья — настоящая тайна. Когда я шел сюда, то вон в том доме навзрыд запричитал молодой женский голос. Загадки, сударь, это не наше дело. Нам платят за поддержание порядка. Неужто вы думаете, будто мы разыскиваем жуликов из любопытства? Нет, голубчик, мы разыскиваем их, чтоб

отвести в тюрьму. Порядок есть порядок.

— Вот видите, — вырвалось у pana Рыбки, — даже вы признаете, что это непорядок, если кто-то посреди улицы... скажем, взлетел прямо в воздух, не правда ли?

— Все зависит от того, как на это взглянуть, — заметил комиссар. — Существует такое полицейское правило — если возникла опасность падения с некоей высоты, то человека нужно привязать. Тут в первую голову предупреждают, а потом берут штраф. Ежели кто вознесся ввысь самовольно, полицейский обязан, само собой, напомнить, чтобы он пристегнул предохранительные ремни; однако полицейского, как видно, поблизости не оказалось, — произнес он извиняющимся тоном. — Ведь после него тоже остались бы следы. Впрочем, этот чудаков мог исчезнуть и как-нибудь иначе, не правда ли?

— Но как? — быстро спросил пан Рыбка. Комиссар Бартошек покачал головой:

— Трудно сказать. Может, вознесся, а может, поднялся по лестнице Иакова, — неуверенно предположил он. — Вознесение можно расценить как похищение, если оно совершалось насильственно; но, по-моему, обычно это происходит с согласия потерпевшего. А вдруг этот человек обладал способностью летать... Вы никогда не видели во сне, как вы летаете? Легонечко так оттолкнешься от земли и летишь... Некоторые летают, словно воздушный шар, а я, когда летаю во сне, время от времени отталкиваюсь ногой; по-моему, тяжелое обмундирование и сабля тянут меня вниз. Может, человек этот уснул и улетел во сне? И это не возбраняется, сударь. Конечно, на людной улице полицейский обязан был бы сделать такому летуну предупреждение. Пойдите, а может, это левитация? Спириты верят в левитацию; но спиритизм тоже не запрещен. Пан Баудыш рассказывал мне, будто сам видел, как медиум висел в воздухе. Кто знает, в чем тут дело.

— Но, пан комиссар, — укоризненно произнес пан Рыбка, — вы же сам себе не верите! Это же нарушение всех естественных законов!

Пан Бартошек уныло пожал плечами.

— Кому-кому, а мне-то слишком хорошо известно, как некоторые лица преступают всевозможные законы и установления; если бы вы служили в полиции, то узнали бы об этом получше... — Комиссар махнул рукой. — Я бы не удивился, если бы они принялись нарушать и естественные законы. Люди — большая пакость, сударь. Ну, спокойной ночи; что-то холодно стало.

— А не выпить ли нам вместе чашечку чая... или рюмку сливовицы? — предложил пан Рыбка.

— Отчего бы и нет, — устало ответил комиссар. — Знаете, в нашем мундире даже в кабаке запросто не войдешь. Оттого-то полицейские такие трезвенники.

— Загадка, — продолжал он, устроившись в кресле и задумчиво следя за тем, как на носке его сапога тает снег. — Девяносто девять прохожих из ста прошли бы мимо этих следов и не обратили бы на них внимания. Да и вы тоже пройдете мимо девяноста девяти из сотни загадочный случаев. Черта лысого мы знаем о том, как все обстоит на самом деле. Лишь немногие вещи лишены тайны. Нет тайны в порядке. Нет ничего загадочного в справедливости. В полиции тоже нет никакой загадки. Но уже любой прохожий на улице — загадка, потому как мы над ним невластны, сударь... Однако и он, стоит ему совершить кражу, перестанет быть загадочным, — мы попросту запрем его в камеру, и — конец; по крайней мере, нам будет ясно, чем он занимается, и мы сможем взглянуть на него хотя бы через дверной глазок, понимаете? Это журналисты могут писать: «Загадочная находка — труп!» Скажите на милость! Что же в трупе загадочного? Когда труп поступает к нам, мы его обмеряем, фотографируем и производим вскрытие; мы изучим на нем все до нитки; узнаем, что он ел в последний раз, отчего наступила смерть и все такое прочее; сверх того, нам станет известно, что убийство совершено, скорее всего, из-за денег. И все так просто и ясно... Мне, пожалуйста, чаю покрепче, пан Рыбка. Преступления обычно просты, пан

Рыбка; в них, по крайности, видны мотивы да и вообще все, что с ними связано. А загадочно, скажем, то, о чем думает ваша кошка, что снится вашей прислуге, отчего так задумчиво смотрит в окно ваша жена. Все загадочно, сударь, кроме преступлений; криминальный казус — это ведь точно определенная частица реальности, такая частица, которую мы будто бы осветили фонарем. Обратите внимание, если бы я принялся разглядывать вашу квартиру, я кое-что узнал бы и о вас, но я смотрю на носок своего ботинка, потому что служебных дел у меня к вам нет; на вас нам никто не доносил, — добавил он, отхлебывая горячий чай.

— Странное все-таки представление, — начал он снова, помолчав, — будто полицию и, главное, тайных агентов интересуют загадки. Да чихать мы на них хотели; нас интересуют нарушения порядка. Преступление интересует нас не потому, что оно загадочно, а потому что оно противозаконно. Мы преследуем негодяев не ради интеллектуального интереса; мы преследуем их, чтобы именем закона засадить в тюрьму.

— Послушайте, подметальщики бегают с метлой по улицам не затем, чтобы в пыли читать человеческие следы, но чтобы замести и убрать всяческие непотребства, которые наворотила жизнь. Порядок — ничуть не таинствен. А наводить порядок — это черная работа, сударь; и тому, кто взялся наводить чистоту, приходится совать пальцы в любую грязь. Кому-то ведь нужно этим заниматься, не так ли? — устало произнес полицейский.

— Так же как забивать телят. Забивать телят из любопытства — жестоко; это занятие должно стать повседневным ремеслом. Коли человек обязан совершать поступки, то он, по крайней мере, должен знать, что у него на это есть право. Обратите внимание, справедливость должна быть абсолютна и однозначна, как таблица умножения. Не знаю, в состоянии ли вы мне доказать, что *любая* кража предосудительна; я же берусь доказать вам, что всякая кража запрещена законом, и если вы вор — я тут же вас арестую. Даже если вы начнете сорить на улицах жемчугом, полицейский только укажет вам, что вы загрязняете общественные места. А ежели вздумаете творить чудо — вам этого никто не запретит, разве что ваши действия вызовут публичное возмущение либо будут расценены как безнравственные. В ваших поступках должна заключаться некая непристойность, чтобы мы могли принять меры.

— Но, сударь, — возразил пан Рыбка, которому не сиделось на месте, — неужто для вас этого достаточно? Речь идет о таком странном, таком таинственном случае... а вы...

Пан Бартошек пожал плечами.

— Это меня не касается. Ежели вам желательно, я прикажу засыпать следы, чтоб они не мешали вам спать, сударь. Но больше я ничем помочь не могу. Вы ничего не слышите? Ничьих шагов? Идет наш патруль; значит, сейчас два часа семь минут. Покойной ночи, сударь.

Пан Рыбка проводил комиссара за калитку; посреди улицы все еще была заметна резко и необъяснимо оборвавшаяся цепочка следов. По противоположному тротуару шествовал полицейский.

— Мимра! — крикнул комиссар. — Что новенького? Полицейский Мимра взял под козырек.

— В общем, ничего, господин комиссар, — доложил он. — Там вон, возле дома номер семнадцать, мяукала кошка. В девятом забыли запереть двери. На перекрестке раскопали улицу и не повесили красный фонарь, а у лавочника Маршика вывеска висит на одном гвозде: рано утром придется снять, чтоб не свалилась кому-нибудь на голову.

— И все?

— Все, — подтвердил полицейский Мимра. — Утром придется посыпать тротуары, чтоб люди не поломали ноги; надо бы в шесть часов позвонить дворникам...

— Ну ладно, — сказал комиссар Бартошек. — Спокойной ночи!

Пан Рыбка еще раз оглянулся на следы, что вели в неизвестность. Но на месте последнего отпечатка сейчас виднелись основательные оттиски сапог полицейского Мимры; оттуда его следы размеренной и ясной чередой следовали дальше.

«Ну слава богу!» — с облегчением вздохнул пан Рыбка и отправился спать.

## Купон

В тот жаркий августовский день на Стршелецком острове было очень людно. Минке и Пепику пришлось сесть к столику, где уже сидел какой-то человек с толстыми унылыми усами.

— Разрешите? — спросил Пефик. Человек молча кивнул. «Противный! — подумала Минка. — Надо же, торчит тут, за нашим столиком!» И она немедленно с осанкой герцогини уселась на стул, который Пефик вытер платком, затем взяла пудреницу и припудрила нос, чтобы он, боже упаси, не заблестел в такую жару. Когда Минка вынимала пудреницу, из сумочки выпала смятая бумажка. Усатый человек нагнулся и поднял ее.

— Спрячьте это, барышня, — скучным голосом сказал он.

Минка покраснела, во-первых, потому, что к ней обратился незнакомый мужчина, а во-вторых, потому, что ей стало досадно, что она покраснела.

— Спасибо, — сказала она и повернулась к Пепику. — Это купон из магазина, помнишь, где я покупала чулки. *[В некоторых магазинах довоенной Чехословакии с целью привлечения покупателей выдавались «купоны», на которых была указана стоимость покупки. Покупатель, набравший товаров на определенную сумму, получал от фирмы недорогой подарок — «премию».]*

— Вы даже не знаете, барышня, как может пригодиться такой купон, — меланхолично заметил сосед по столику.

Пефик счел своим рыцарским долгом вмешаться.

— К чему беречь всякие дурацкие бумажки? — объявил он, не глядя на соседа. — Их набираются полные карманы.

— Это не беда, — сказал усатый. — Иной раз такой купон окажется поважнее... чего хотите.

На лице у Минки появилось напряженное выражение: «Противный тип, пристаёт с разговорами. И почему только мы не сели за другой столик!»

Пефик решил прекратить этот обмен мнениями.

— Почему поважнее? — сказал он ледяным тоном и нахмурил брови.

«Как это ему идет!», — восхитилась Минка.

— Может быть уликой, — проворчал противный и прибавил, как бы представляясь: — Я, видите ли, служу в полиции, моя фамилия Соучек. У нас недавно был такой случай... — Он махнул рукой. — Иногда человек даже не знает, что у него в карманах...

— Какой случай? — не удержался Пефик.

Минка заметила, что на нее уставился парень с соседнего столика. «Погоди же, Пепа, я отучу тебя вести разговоры с посторонними!»

— Ну, с той девушкой, что нашли около Розптил, — отозвался усатый и замолк, видно не собираясь продолжать разговор.

Минка вдруг живо заинтересовалась, наверное потому, что речь шла о девушке.

— С какой девушкой? — воскликнула она.

— Ну, с той, которую там нашли, — уклончиво ответил сыщик Соучек и, немного смутившись, вытащил из кармана сигарету. И тут произошло неожиданное: Пефик быстро сунул руку в карман, чиркнул своей зажигалкой и поднес ее соседу по столику.

— Благодарю вас, — сказал тот, явно польщенный. — Видите ли, я говорю о трупe женщины, которую жнецы нашли в поле, между Розптилами и Крчью, — объяснил он, как бы в знак признательности и расположения.

— Я ничего о ней не слыхала, — глаза у Минки расширились. — Пефик, помнишь, как мы с тобой ездили в Крчь?... А что случилось с этой женщиной?

— Задущена, — сухо сказал Соучек. — Так и лежала с веревкой на шее. Не стану при барышне рассказывать, как она выглядела. Сами понимаете, дело было в июле... а она там пролежала почти два месяца... — Сыщик поморщился и выпустил клуб дыма. — Вы и понятия не имеете, как выглядит такой труп. Родная мать не узнает. А мух сколько!... — Соучек меланхолически покачал головой. — Эх, барышня, когда у человека на лице уже нет кожи, тут не до наружности! Попробуй-ка, опознай такое тело. Пока целы нос и глаза, это еще возможно, а вот если оно пролежало больше месяца на солнце...

— А метки на белье? — тоном знатока спросил Пепик.

— Какие там метки! — проворчал Соучек. — Девушки обычно не метят белье, потому что думают: все равно выйду замуж и сменю фамилию. У той убитой не было ни одной метки, что вы!

— А сколько ей было лет? — участливо осведомилась Минка.

— Доктор сказал, что примерно двадцать пять. Он определяет по зубам и по другим признакам. Судя по одежде, это была фабричная работница или служанка. Скорее всего служанка, потому что на ней была деревенская рубашка. А кроме того, будь она работница, ее давно бы уже хватились, ведь работницы встречаются ежедневно на работе и нередко живут вместе. А служанка уйдет от хозяев, и никто ею больше не заинтересуется, не узнает, куда она делась. Странно, не правда ли? Вот мы и решили, что если ее никто два месяца не искал, то верней всего это служанка. Но самое главное — купон.

— Какой купон? — живо осведомился Пепик, который несомненно ощущал в себе склонности стать сыщиком, канадским лесорубом, капитаном дальнего плавания или еще какой-нибудь героической фигурой, и его лицо приняло подобающее случаю энергичное и сосредоточенное выражение.

— Дело в том, — продолжал Соучек, задумчиво уставясь в пол, — что у этой девушки не было решительно никаких вещей. Убийца забрал все сколько-нибудь ценное. Только в левой руке она зажала кожаную ручку от сумочки, которая валялась неподалеку во ржи. Видно, преступник пытался вырвать ее, но, увидев, что ручка оборвалась, бросил сумочку в рожь, прежде, конечно, все из нее вынув. В этой сумочке между складками застрял и трамвайный билет седьмого маршрута и купон из посудного магазина на сумму в пятьдесят пять крон. Больше мы на трупе ничего не нашли.

— А веревка на шее? — сказал Пепик. — Это могла быть улика.

Сыщик покачал головой.

— Обрывок обыкновеннейшей веревки для белья не может навести на след. Нет, у нас решительно ничего не было, кроме трамвайного билета и купона. Ну, мы, конечно, оповестили через газеты, что найден труп женщины, лет двадцати пяти, в серой юбке и полосатой блузке. Если два месяца назад у кого-нибудь ушла служанка, подходящая под это описание, просьба сообщить в полицию. Сообщений мы получили около сотни. Дело в том, что в мае служанки чаще всего меняют места, бог весть почему...

— Все эти сообщения оказались бесполезными. А сколько возни было с проверкой! — меланхолически продолжал Соучек. — Целый день пробегаешь, пока выяснишь, что какая-нибудь гусыня, служившая раньше в Дейвице, теперь нанялась к хозяйке, обитающей в Вршовице или в Коширже. А в конце концов оказывается, что все это зря: гусыня жива да еще смеется над тобой... Ага, играют чудесную вещь! — с удовольствием заметил он, покачивая головой в такт мелодии из «Валькирий» Вагнера, которую оркестр исполнял, как говорится, не щадя сил. — Грустная музыка, а? Люблю грустную музыку. Потому и хожу на похороны всех значительных людей — ловить карманников.

— Но убийца должен был оставить хоть какие-нибудь следы? — сказал Пепик.

— Видите вон того ферта? — вдруг живо спросил Соучек. — Он работает по церковным кружкам. Хотел бы я знать, что ему здесь нужно... Нет, убийца не оставил никаких следов... Но если найдена убитая девушка, то можно головой ручаться, что ее прикончил любовник. Так всегда бывает, — задумчиво сказал сыщик. — Вы, барышня, не пугайтесь... Так что мы могли бы найти убийцу, но прежде надо было опознать тело. В этом-



то и была вся загвоздка.

— Но ведь у полиции есть свои методы... — неуверенно заметил Пепик.

— Вот именно, — вяло согласился сыщик. — Метод тут примерно такой, как при поисках одной горошины в мешке гороха: прежде всего необходимо терпение, молодой человек. Я, знаете ли, люблю читать уголовные романы, где описано, как сыщик пользуется лупой и всякое такое. Но что я тут мог увидеть с помощью лупы? Разве поглядеть, как резвятся черви на теле этой несчастной девушки... извините, барышня! Терпеть не могу разговоров о методе. Наша работа это не то, что читать роман и стараться угадать, как он кончится. Скорее она похожа на такое занятие: дали вам книгу и говорят: "Господин Соучек, прочтите от корки до корки и отметьте все страницы, где имеется слово «хотя». Вот такая это работа, понятно? Тут не поможет ни метод, ни смекалка, надо читать и читать, а в конце концов окажется, что во всей книге нет ни одного «хотя». Или приходится бегать по всей Праге и выяснять местожительство сотни Андул и Марженок для того, чтобы потом «криминалистическим путем» обнаружить, что ни одна из них не убита. Вот о чем надо писать романы, — проворчал Соучек, — а не об украденном жемчужном ожерелье царицы Савской. Потому что это по крайней мере солидная работа, молодой человек!

— Ну и как же вы расследовали это убийство? — осведомился Пепик, заранее уверенный, что он-то взялся бы за дело иначе.

— Как расследовали? — задумчиво повторил сыщик. — Надо было начать хоть с чего — нибудь, так мы сперва взяли за трамвайный билет. Маршрут номер семь. Допустим, стало быть, убитая служанка, — если только она была служанкой, — жила вблизи тех мест, где проходит семерка. Это, правда, не обязательно, она могла проезжать там и случайно, но для начала надо принять хоть какую-нибудь версию, иначе не сдвинешься с места. Оказалось, однако, что семерка идет через всю Прагу: из Бржевнова, через Малую Страну и Новое Место на Жижков. Опять ничего не получается. Тогда мы взяли за купон. Из него хотя бы было ясно, что некоторое время назад эта девушка купила в посудном магазине товара на пятьдесят пять крон. Пошли мы в тот магазин...

— И там ее вспомнили! — воскликнула Минка.

— Что вы, барышня! — проворчал Соучек. — Куда там! Но наш полицейский комиссар, Мейзлик, спросил у них, какой товар мог стоить пятьдесят пять крон. «Разный, — говорят ему, — смотря по тому, сколько было предметов. Но есть один предмет, который стоит ровно пятьдесят пять крон: это английский чайничек на одну персону». — «Так дайте мне такой чайничек, — сказал наш Мейзлик, — но чтоб такой хлам так дорого стоил...»

Потом он вызвал меня и говорит: "Вот что, Соучек, это дело как раз для вас. Допустим, эта девушка — служанка. Служанки то и дело бьют хозяйскую посуду. Когда это случается в третий раз, хозяйка обычно говорит ей: «Купите-ка теперь на свои деньги, растяпа!» И служанка идет и покупает за свой счет предмет, который она разбила. За пятьдесят пять крон там был только этот английский чайничек. «Чертовски дорогая штука», — заметил я. «Вот в том-то и дело, — говорит Мейзлик. — Прежде всего это объясняет нам, почему служанка сохранила купон: для нее это были большие деньги, и она, видимо, надеялась, что хозяйка когда-нибудь возместит ей расход. Во-вторых, учтите вот что: это чайничек на одну персону. Стало быть девушка служила у одинокой особы и подавала в этом чайничке утренний чай. Эта одинокая особа, по-видимому, старая дева, — ведь холостяк едва ли купит себе такой красивый и дорогой чайничек. Холостякам все равно из чего пить, не так ли? Вернее всего это какая-нибудь одинокая квартирантка; старые девы, снимающие комнату, страшно любят красивые безделушки и часто покупают ненужные и слишком дорогие вещи».

— Это верно, — воскликнула Минка. — Вот и у меня, Пепик, есть красивая вазочка...

— Вот видите, — сказал Соучек. — Но купона от нее вы не сохранили... Потом комиссар и говорит мне: "Итак, Соучек, будем продолжать наши рассуждения. Все это очень спорно, но надо же с чего-то начать. Согласитесь, что особа, которая может выбросить пятьдесят пять крон за чайничек, не станет жить на Жижкове. (Это он имел в виду трамвайный билет с семерки.) Во внутренней Праге почти нет комнат, сдающихся внаем, а

на Малой Стране никто не пьет чай, только кофе. Так что, по-моему, наиболее вероятен квартал между Градчанами и Дейвице, если уж придерживаться того трамвайного маршрута. «Я почти готов утверждать, — сказал мне Мейзлик, — что старая дева, которая пьет чай из такого английского чайничка, наверняка поселилась бы в одном из домиков с палисадником. Это, знаете ли, Соучек, современный английский стиль!...»

У нашего комиссара Мейзлика, скажу я вам, иной раз бывают несуразные идеи. «Вот что, Соучек, — говорит он, — возьмите-ка этот чайничек и поспрошайте в том квартале, где снимают комнаты состоятельные барышни. Если у одной из них найдется такая штука, справьтесь, не было ли у ее хозяйки до мая молодой служанки. Все это чертовски сомнительно, но попытаться следует. Идите, папаша, поручаю это дело вам».

Я, знаете ли, не люблю эти гаданья на кофейной гуще. Порядочный сыщик — не звездочет и не ясновидец. Сыщику нельзя слишком полагаться на умозаключения. Иной раз, правда, угадаешь, но чисто случайно, и это не настоящая работа. Трамвайный билет и чайничек это все-таки вещественные доказательства, а все остальное только... гипотеза, — продолжал Соучек, не без смущения произнеся это ученое слово. — Ну, я взялся за дело по-своему: стал ходить в этом квартале из дома в дом и спрашивать, нет ли у них такого чайничка. И представьте себе, в тридцать седьмом домике служанка говорит: «О-о, как раз такой чайничек есть у нашей квартирантки!» Тогда я сказал, чтобы она доложила обо мне хозяйке.

Хозяйка, вдова генерала, сдавала две комнаты. У одной из ее квартиранток, некоей барышни Якоубковой, учительницы английского языка, был точно такой английский чайничек. «Сударыня, — говорю я хозяйке, — не было ли у вас служанки, которая взяла расчет в мае?» — «Была, — отвечает она, — ее звали Маня, а фамилии я не помню». — «А не разбила ли она чайничек у вашей квартирантки?» — «Разбила, и ей пришлось на свои деньги купить новый. А откуда вы об этом знаете?» — «Э-э, сударыня, нам все известно...»

Тут все пошло как по маслу: первым делом я разыскал подружку этой Мани, тоже служанку. У каждой служанки всегда есть подружка, причем только одна, но уж от нее нет секретов. У этой подружки я узнал, что убитую звали Мария Паржизекова и она родом из Држевича. Но важнее всего для меня было, кто кавалер этой Марженки. Узнаю, что она гуляла с каким-то Франтой. Кто он был и откуда, подружка не знала, но вспомнила, что однажды, когда они были втроем в «Эдене», какой-то хлюст крикнул Франте: «Здорово, Ферда!» У нас в полиции есть такой Фрибз, специалист по всяческим кличкам и фальшивым именам. Вызвали его для консультации, и он тотчас сказал: «Франта, он же Ферда, это Кроутил из Кошнрже. Его настоящая фамилия Пастыржик. Господин комиссар, я схожу забрать его, только надо идти вдвоем». Ну, пошел я с Фрибой, хоть это была и не моя работа. Загребли мы того Франту у его любовницы, он даже схватился за пистолет, сволочь... Потом отдали в работу комиссару Матичке. Бог весть, как Матичке это удастся, но за шестнадцать часов он добился своего: Франта, или Пастыржик, сознался, что задушил на меже Марию Паржизекову и выкрал у нее две сотни крон, которые она получила, взяв расчет у хозяйки. Он обещал ей жениться, они все так делают... — хмуро добавил Соучек.

Минка вздрогнула.

— Пепа, — сказала она, — это ужасно!

— Теперь-то не так ужасно, — серьезно возразил сыщик. — Ужасно было, когда мы стояли там, над ней, в поле, и не нашли ничего другого, кроме трамвайного билета и купона. Только две пустяковые бумажки. И все-таки мы отомстили за Марженку! Да, говорю вам, ничего не выбрасывайте. Ничего! Самая ничтожная вещь может навести на след или быть уликой. Человек не знает, что у него в кармане нужное и что ненужное.

Минка сидела, глядя в одну точку глазами, полными слез. В горячей ладони она все еще нервно сжимала смятый купон. Но вот она в беззаветном порыве обернулась к своему Пепику, разжала руку и бросила купон на землю...

Пепик не видел этого, он смотрел на звезды. Но полицейский сыщик Соучек заметил и усмехнулся грустно и понимающе.

## Конец Оплаты

В третьем часу ночи агент тайной полиции Крейчик заметил, что в булочной на Неклановой улице в доме № 17 наполовину приподнята железная штора. Крейчик нажал кнопку звонка к дворнику и, хотя уже не был при исполнении служебных обязанностей, заглянул под штору. В этот момент из булочной выскочил человек. Оказавшись лицом к лицу с Крейчиком, он выстрелил ему в живот и пустился бежать.

Полицейский Бартош, совершавший в это время обход Иеронимовой улицы, услышал выстрел и бросился в ту сторону со всех ног. На углу он чуть не столкнулся с бегущим человеком. Не успел Бартош крикнуть: «Стой!» — как раздался выстрел, и Бартош, раненный в живот, свалился на мостовую.

Улица проснулась от полицейских свистков, рысью сбегались патрули со всего района; из участка, застегивая на ходу куртки, бежали трое полицейских; через несколько минут из управления полиции примчался на мотоцикле дежурный офицер, но Бартош был уже мертв, и Крейчик умирал, держась за живот.

До рассвета полиция арестовала около двадцати человек. Арестовывали наобум, потому что убийцу никто не видал. Но, с одной стороны, полицейским хотелось отомстить за смерть двух товарищей, а с другой — так обычно делается в расчете на то, что кто-нибудь из арестованных проговорится. Допросы продолжались непрерывно день и ночь. Бледные, измученные рецидивисты изнывали на нескончаемых допросах, но больше всего боялись остаться наедине с двумя полицейскими, которые поведут их после допроса. В сердцах полицейских бушевала темная и страшная злоба — ведь убийца нарушил неписанный договор между полицией и преступным миром. Что он стрелял — это еще куда ни шло, но стрелять в живот так не поступают даже с диким зверем.

К началу вторых суток вся полиция вплоть до последнего заштатного участка знала имя убийцы: Оплата! Проговорился один из арестованных. «Ну, да! — сказал он. — Вальта трепался, что Оплата пришел двух легавых на Неклановой. Он, мол, пришьет еще и других, ему на все наплевать, у него чахотка!»

Ладно, значит — Оплата. В ту же ночь арестовали Вальту, потом любовницу Оплаты и трех его приятелей. Но никто из них не знал или не хотел сказать, где скрывается Оплата. Немало полицейских и сыщиков получили задание искать Оplatку. Но, кроме них, каждый полицейский, придя со службы домой и выпив чашку кофе, переодевался и, пробурчав что-то жене, шел искать убийцу на свой страх и риск. Наружность Оплаты была знакома каждому — этакий тщедушный, бледный человечек с тонкой шеей.

В одиннадцатом часу вечера полицейский Врзал, вернувшийся с поста в девять, переоделся в штатское и сказал жене, что пойдет поглядеть, что делается на улице. Около Райского сада он увидел человека, прятавшегося в тени. Врзал, хотя и не был вооружен, подошел поближе. Когда он был в трех шагах от неизвестного, тот быстро сунул руку в карман, выстрелил полицейскому в живот и пустился бежать. Схватившись руками за живот, Врзал бросился за ним, но через десяток шагов повалился наземь. Кругом уже заливались полицейские свистки, и несколько человек гналось за убегающей тенью. За садами Ригера раздалось два-три выстрела. Через четверть часа несколько автомобилей, набитых полицейскими, промчалось на окраину города, к верхней части Жижкова, и патрули из четырех-пяти человек стали прочесывать тамошние новостройки. Около часа ночи раздался выстрел за Ольшанским прудом, уже за чертой города, — кто-то на бегу выстрелил в парня, возвращавшегося от своей девушки из Вацкова, но промахнулся. Во втором часу ночи полицейские и сыщики, шаг за шагом приближаясь друг к другу, целью окружили пустошь так называемых Еврейских печей. Начался мелкий дождь. Утром было получено сообщение, что на шоссе, недалеко от таможенного поста за Малешницами, кто-то стрелял в таможенника. Таможенник побегал было за стрелявшим, но вернулся, благоразумно рассудив, что это не его дело. Стало ясно, что Оплата вырвался из города.

Человек шестьдесят полицейских в касках и дождевиках возвращались от Еврейских печей, промокшие, усталые и разъяренные — чуть не плача от злости. И было на что злиться: этот босьяк прикончил трех полицейских — Бартоша, Крейчика и Врзала, а теперь бежит прямо в лапы сельских жандармов «Он по праву принадлежит *нам*, — твердили полицейские в форме и сыщики в штатском, — а вот, подумайте, приходится этого негодяя отдать жандармам! Слушайте, ведь он стрелял в нас, значит, это *наше* дело! Пусть жандармы не суются, пусть они только преградят ему путь и заставят вернуться в Прагу...»

Весь день моросил холодный дождь. Вечером в сумерках жандарм Мразек возвращался из селения Черчаны, куда ходил купить батарейку для радио. Мразек был без оружия и шел, весело посвистывая. По дороге ему попался невысокий человек. Мразек не обратил бы на него внимания, если бы человек не остановился, словно в нерешительности. Что за тип? — насторожился Мразек, но уже блеснул огонек, и Мразек упал, схватившись рукой за бок.

В тот же вечер жандармы всего округа были подняты на ноги.

— Слушай, Мразек, — сказал умирающему жандармский капитан Гонзатко. — Ты не горюй, честное слово, мы этого гада поймаем. Это Оплатка, и я головой ручаюсь, что он пробирается в Собеслав, потому что оттуда родом. Черт их знает, почему, но когда этим людям грозит петля, их тянет на родину... Дай мне руку, Вацлав, обещаю тебе, что мы с ним разделаемся, чего бы это ни стоило.

Вацлав Мразек постарался улыбнуться, но из головы у него не выходили дета, а было их трое... Потом он представил себе, как со всех сторон собираются жандармы... наверное, придет и Томан из Черного Костельца... и Завала из Вотии, — этот наверняка не отстанет! — и... и Роусек из Сазавы... Все наши парни, все свои... Сколько бравых ребят вместе! Мразек усмехнулся в последний раз; потом начались невыносимые боли.

Той же ночью жандармскому вахмистру Заваде вздумалось осмотреть ночной поезд из Бенешова. Кто знает, может, там Оплатка? Что, если он осмелился сесть в поезд? В вагонах тускло мерцали фонари; пассажиры, скорчившись, словно усталые зверьки, дремали на лавках. Вахмистр шел по вагонам, думая: «Черта с два тут распознаешь человека, которого ты жизни не видел». Вдруг со скамейки в двух шагах от него вскочил какой-то пассажир в шляпе, надвинутой на глаза, хлопнул револьверный выстрел, и не успел жандарм в узком коридоре сорвать с плеча винтовку, как человек, размахивая револьвером, выпрыгнул из вагона. Завада успел еще крикнуть: «Держи!» — и ничком повалился на пол.

Убийца побежал к товарному составу, вдоль которого, раскачивая фонарем, шел железнодорожник Груша. «Вот отойдет двадцать шестой, пойду в дежурку прилечь», — думал Груша. Но тут он увидел бегущего человека и, не раздумывая, бросился ему наперерез. Такова уж, видно, привычная мужская реакция! Блеснул огонек — и это было последнее, что видел дед Груша. Еще и 26-ой не отошел, а Груша лежал в дежурке, только не на лавке, а на столе, и железнодорожники, сняв шапки, шли с ним проститься.

Несколько преследователей сгоряча пустилось в погоню, но было уже поздно. Оплатка по рельсам удрал в поле.

От мерцающих огоньков вокзала, от толпы взволнованных людей по всему дремотному осеннему сельскому краю прокатилась дикая паника. Жители запирались в свои дома и не решались высунуться даже на крыльцо. Говорили, что повсюду бродит неизвестный, страшного вида человек, не то долговязый и тощий, не то маленький и в кожаной тужурке. Почтальон видел, как он прячется за деревом, извозчику Лебеде на дороге кто-то делал знаки остановиться, но Лебеда хлестнул лошадей и умчался. А на самом деле случилось другое: какой-то человек, падающий от усталости, остановил девочку по дороге в школу. Прохрипев: «Дай!» — вырвал у нее узелок с ломтем хлеба и пустился бежать. С тех пор во всех деревнях люди, затаив дыхание, запирались на засовы и едва отваживались выглянуть в окно на безлюдную вечернюю улицу.

Но одновременно происходило другое, — центростремительное движение: со всех сторон, по одному, по два приходили жандармы. Бог весть откуда их столько набралось...

— Какого черта вам тут надо? — кричал капитан Гонзатко на жандарма из Часлава. —



Кто вас сюда послал? Думаете, для поимки одного негодяя мне нужны жандармы всей страны?!

Жандарм из Часлава снял каску и смущенно поскреб в затылке.

— Такое дело, господин капитан, — просительно сказал он. — Завада этот... мой приятель... Не могу я... быть в стороне...

— Черт знает, что за народ! — бушевал капитан. — Каждый твердит одно и то же. Тут у меня собралось без приказа таких, как вы, больше пятидесяти человек. Что мне с вами делать? — Капитан сердито кусал ус. — Ладно, поручаю вам участок шоссе, вон тот, от перекрестка к лесу. Скажите Олдржиху из Бенешова, что вы пришли его сменить.

— Из этого ничего не выйдет, господин капитан. — рассудительно возразил жандарм из Часлава, — Олдржих наверняка скажет, что ему смены не нужно и что ему на меня плевать. Уж лучше я возьму участок от леса до другой дороги. Есть там кто?

— Семирад из Веселки, — проворчал капитан. — И слушайте, вы, чаславский. Если увидите преступника, стреляйте первый. Я отвечаю. Никаких церемоний, понятно? Больше я не позволю убивать моих людей. Ну, марш!

Потом появился начальник станции.

— Господин капитан! — сказал он. — Там приехало еще тридцать человек.

— Какие тридцать человек? — закричал капитан.

— Ну, железнодорожники. Это из-за Груши. Он ведь наш. Так вот, они хотят предложить вам свою помощь...

— Гоните их в шею! Еще штатские на мою голову! Начальник станции переминался с ноги на ногу.

— Послушайте, господин капитан, — настойчиво продолжал

он. — Некоторые из них приехали из самой Праги и даже из Мезимостья. Такая спайка — хорошая вещь. Разве заставишь их уехать обратно, если Оплата убил одного из наших? Это их право... Уж вы, пожалуйста, господин капитан, не откажите, возьмите их с собой!

Капитан раздраженно проворчал, чтобы его оставили наконец в покое.

В течение дня широкое кольцо вокруг Оплаты постепенно сужалось. После полудня позвонили из штаба соседнего гарнизона — не потребуется ли в подкрепление отряд солдат. «Нет! — отрезал капитан. — Это наше дело и мы с ним справимся сами, понятно? Тем временем приехала группа сыщиков из Праги и жестоко поругалась с жандармским вахмистром на вокзале, который попытался отправить их обратно.

— Что?! — взорвался сыскной инспектор Голуб. — Вы хотите, чтоб мы поворотили оглобли? Эй, вы, трусы! Он убил троих наших, а у вас только двоих. У нас на него больше прав, вы, медноголовые.

Едва удалось уладить этот конфликт, как возник новый — между жандармами и лесничими

— Убирайтесь прочь! — кричали жандармы. — Это вам не охота на зайцев!

— Черта с два! — возражали лесничие. — В лесах мы хозяева и *можем ходить, где хотим*. Ясно?

— Да поймите вы, — уговаривал их Роусек, жандарм из Сазавы, — это *наше* дело, и в него никто не должен лезть.

— Как же! — отвечали лесничие. — Девчонка-то, у которой Оплата отнял хлеб, нашего лесничего дочка. Мы ему этого не спустим!

К вечеру круг замкнулся. Каждый преследователь слышал справа и слева от себя прерывистое дыхание соседа и чавканье сапог в топкой почве.

— Стой! — тихо передавали приказ по цепи. — Не двигаться!

Воцарилась тяжкая, грозная тишина, лишь изредка шелестела сухая листва на ветру да начинал моросить дождь. Иногда кто-нибудь наступал на ветку или тихо звякало кольцо



ремня о винтовку.

В полночь кто-то прокричал в темноте: «Стой!» — и выстрелил. В этот момент произошло что-то странное — раздалось десятка три выстрелов; некоторые бросились вперед, другие закричали: «Назад! По местам!»

Кое — как все снова пришло в порядок, круг опять замкнулся. Только теперь преследователи отчетливо осознали, что во тьме перед ними прячется загнанный и обреченный человек, стремящийся вырваться из страшного окружения. Неудержимый озноб пробежал по рядам людей. Где-то, словно осторожные шаги, прошуршали тяжелые капли дождя. О господи, хоть бы скорее рассвело!

Забрезжил туманный рассвет, и уже можно было разглядеть силуэты людей. Как близко были они друг от друга! Их замкнутая цепь окружала лесок, вернее — заросли густого кустарника, где, наверное, полно зайцев... Там было тихо... совершенно тихо...

Капитан Гонзатко нервно пощипывал ус. Ждать еще... или?

— Я пойду туда, — пробормотал инспектор Голуб. Капитан засопел.

— Идите вы! — приказал он ближайшему жандарму. Пять человек устремилось к кустарнику, послышался треск ломающихся ветвей, потом наступила тишина.

— Всем оставаться на местах! — крикнул капитан своим людям и медленно двинулся к зарослям. Немного погодя из кустов появилась широкая спина жандарма, волочившего поникшее тело. Ноги поддерживал усатый, как морж, лесничий. За ними выбрался из густых зарослей капитан Гонзатко, хмурый и пожелтевший.

— Положите его здесь, — прохрипел он, потер себе лоб, оглядел, словно удивляясь, цепь людей, стоящих в нерешительности, еще больше нахмурился и закричал: — Чего уставились? Разойдитесь!

Один за другим люди как-то смущенно подходили к тщедушному скорченному телу, лежащему на меже. Так вот он, Оплата, — эта худая торчащая из рукава рука, это мокрое от дождя позеленевшее худое лицо, эта тощая шея. Господи боже, как он жалок, этот негодяй! Ага, вот у него пулевое ранение в спине, вот небольшая ранка за оттопыренным ухом, вот еще одна рана... четыре, пять, — всего семь ран.

Капитан Гонзатко, склонившийся над трупом, выпрямился, потом неловко откашлялся, почти испуганно поднял глаза. Вот перед ним длинная шеренга жандармов, винтовки на плечах, штыки блестят... Крепкие ребята, что танки! Стоят, подравнявшись, как на параде, никто не шелохнется. Напротив них черная группа сыщиков — приземистые, с револьверами в оттопыренных карманах. Дальше невысокие железнодорожники в синей форме, упрямые и настойчивые, еще дальше зеленые лесничие, сухощавые и жилистые парни, усатые и краснолицые. «Словно почетный траурный караул, построенный в каре, собирается произвести залп», — подумал капитан, кусая губы от бессмысленных угрызений совести. Такой заморыш, изрешеченный пулями, окоченевший, взъерошенный, как подстреленная дохлая ворона, а против него столько преследователей...

— А, ч-черт! — закричал капитан, стиснув зубы. — Есть там какой-нибудь мешок? Прикройте тело!

Двести человек расходились в разные стороны. Они не разговаривали между собой, только ругали плохую дорогу и сердито огрызались на вопросы любопытных: «Ну да, разделались, отвяжитесь, ради бога!»

Жандарм, оставленный на карауле около трупа, свирепо осаживал деревенских ротозеев: «Вам чего надо? Нечего тут глазеть! Это не ваше дело!»

На границе округа жандарм из Сазавы, Роусек, плюнул и сказал:

— Тьфу, пропасть, лучше б мне этого не видеть! Эх, кабы я мог выйти против этого Оплаты один на один — как мужчина против мужчины!

## Последний суд

— Признаете ли вы себя виновным? — спросил председатель.

Пресловутый Куглер, совершивший несколько убийств, преследуемый целой армией полицейских и детективов, у которых наготове были уже ордера на его арест, заявил, что его не поймают, и его действительно не поймали, во всяком случае живым. Последнее, девятое по счету, убийство он совершил, выстрелив в полицейского, который пытался его арестовать. Хотя полицейского он и убил, зато сам получил семь пуль: по крайней мере, три из них были смертельны. Таким образом, казалось бы, он избежал земного правосудия.

Смерть наступила так быстро, что Куглер не успел даже почувствовать особенной боли. Когда его душа покидала тело, ее могли бы поразить странности того света, серого и бесконечно пустого, но они ее не поразили. Человек, побывавший и в американских тюрьмах, воспринял тот свет просто как незнакомую обстановку, в которой с известной долей мужества можно перебиться, как и в любом другом месте.

Наступил наконец для Куглера неминуемый. Последний Суд. Так как в небесах навечно заведен необычный порядок. Куглер предстал перед Сенатом, а не перед Судом Присяжных, как он предполагал, зная свои прегрешения. Судебный зал выглядел так же просто, как и на земле, только по одной причине — о ней вы вскоре узнаете — не было там креста, перед которым присягают свидетели. Судей было трое, все старые, заслуженные советники, со строгими и недовольными лицами. Начались томительные формальности. Куглер Фердинанд, без определенных занятий, родился такого-то числа, умер... Тут выяснилось, что Куглер не знает даты своей смерти, и он сразу увидел, что такая забывчивость повредила ему в глазах судей, — и обозлился.

— Нет, — строптиво ответил Куглер.

— Попросите свидетеля, — вздохнув, сказал председатель.

Напротив Куглера оказался могучий, просто необыкновенной величины старец, закутанный в синее одеяние, усеянное золотыми звездами. При его появлении судьи встали; встал, помимо своей воли, совершенно очарованный Куглер. Только когда старец занял свое место, судьи снова сели.

— Свидетель, — начал председатель, — Боже Всеведущий, этот последний Сенат пригласил вас, чтобы вы дали свидетельские показания по делу Куглера Фердинанда. Вы, Всевышний, говорящий только правду, присягать не должны. Просим вас, в интересах судебного разбирательства, говорить только по существу, не отвлекаться и не останавливаться на подробностях и фактах, которые не относятся к делу. А вы, Куглер, не перебивайте свидетеля. Он знает все, и скрывать что-либо бессмысленно. Прошу свидетеля дать показания.

Сказав это, председатель удобно облокотился о стол, сиял золотые очки и, видимо, приготовился слушать продолжительную речь свидетеля. Самый старый член суда удобно расположился — поспать. Ангел-секретарь раскрыл книгу жизни.

Свидетель Бог слегка откашлялся и начал:

— Итак, Куглер Фердинанд. Фердинанд Куглер, сын фабричного служащего, уже с детства был испорченным ребенком. Ты, парень, доставил своим близким много неприятностей! Мать страшно любил, но стеснялся проявлять свои чувства и поэтому был упрям и непослушен. А помнишь, ты укусил отцу палец, когда он вздумал поколотить тебя за то, что ты воровал розы в саду у нотариуса?

— Это были розы для Ирмы, дочери податного инспектора, — вспомнил Куглер.

— Я знаю, — сказал Бог. — Ей тогда было семь лет. А ты разве не знаешь, что с ней стало потом?

— Нет, не знаю. — сказал Куглер.

— Она вышла замуж за Оскара, сына фабриканта. Он заразил ее дурной болезнью, и она умерла от аборта. Помнишь Руду Зарубова?

— Где он теперь?

— Он, дружище, стал моряком и погиб в Бомбее. Вы с ним были самые скверные мальчишки во всем городе. Куглер Фердинанд воровал уже в десять лет и постоянно врал, водил компанию с дурными людьми — такими, как пьяница и нищий Длабола; с ним он делился хлебом насущным.

Судья сделал знак рукой, мол, это к делу не относится, но Куглер застенчиво спросил:

— А... что стало с его дочкой?

— С Маржкой? — спросил Бог. — Та совсем опустилась. В четырнадцать лет она продавала себя, а в двадцать уже померла. И в предсмертной агонии вспоминала о тебе. В четырнадцать лет ты пьянствовал и удирал из дому. Твой отец совсем извелся от горя, а мать проплакала все глаза. Осквернил ты свой дом. А твоя сестричка, твоя прелестная сестра Мартичка, не нашла жениха, никто не захотел породниться с семьей преступника. Она и сейчас живет, измученная изнурительной работой, в одиночестве и бедности, униженная подачками милосердных людей.

— Что уже она делает сейчас?

— Как раз сейчас она пришла в лавку Влчека и покупает там нитки, потом будет шить до темноты. Помнишь эту лавку? Однажды ты купил там стеклянный, отливающий всеми цветами радуги шарик. Тебе тогда было шесть лет. В первый же день ты потерял его и никак не мог найти. Помнишь, как ты плакал от досады и огорчения?

— А куда же он закатился? — спросил Куглер, сгорая от любопытства.

— Под желоб. Ведь он лежит там и поныне, а с тех пор минуло тридцать лет. Сейчас на земле идет дождь, и стеклянный шарик перекатывается под струей холодной, журчащей воды.

Куглер склонил голову, потрясенный. Но председатель надел очки и сказал спокойно:

— Свидетель, мы должны перейти к делу. Убивал обвиняемый? Бог-свидетель кивнул.

— Он убил девять человек. Первого в драке. За это он попал в тюрьму, где окончательно развратился. Второй жертвой была неверная любовница. Его приговорили к смерти, но он бежал. Третьим был старик, которого он ограбил. Четвертым — ночной сторож.

— Разве он умер? — воскликнул Куглер.

— Умер через три дня, — сказал Бог. — В страшных мучениях, и оставил после себя шестерых детей. Затем были убиты пожилые супруги: он зарубил их топором и нашел у стариков только шестнадцать крон, хотя у них было припрятано больше двадцати тысяч.

Куглер вскочил:

— Да где же, скажите, пожалуйста?

— В тюфяке, — сказал Бог. — В холщовом мешочке под соломой, где эти скряги прятали деньги, нажитые ростовщицеством. Седьмого он убил в Америке. Это был переселенец, земляк, беспомощный, как ребенок.

— Так они были в тюфяке, — прошептал изумленный Куглер.

— Да, — продолжал Бог. — Восьмым был прохожий, он случайно попался по дороге, когда за тобой гнались. Тогда у тебя, Куглер, было воспаление надкостницы и ты сходил с ума от боли. Чего только ты не натерпелся, парень! Последним был полицейский, которого ты убил перед самой своей смертью.

— Почему он убивал? — спросил председатель.

— Как и все люди, — отвечал Бог. — По злобе, от жадности к деньгам, преднамеренно и случайно, иногда с наслаждением, иногда по необходимости. Был он щедр и часто помогал людям. Ласков был с женщинами, любил животных и держал свое слово. Нужно ли еще говорить о его добрых делах?

— Спасибо, — произнес председатель, — не нужно. Обвиняемый, хотите ли вы сказать что-нибудь в свое оправдание?

— Нет, — ответил равнодушно Куглер, потому что теперь ему уже все было безразлично.

— Суд удаляется на совещание, — объявил председатель, и все четверо вышли. Бог и

Куглер остались одни в судебном зале.

— Кто они? — спросил Куглер, показывая кивком головы на уходящих.

— Люди, как и ты, — сказал Бог. — Они были судьями на земле и теперь судят здесь.

Куглер грыз ногти.

— Я думал... Меня это не волновало, но я ожидал, что судить будете вы, потому что... потому...

— Потому что я Бог. — закончил великий старец. — Вот именно оттого и нельзя, понимаешь? Я все знаю, и поэтому вообще не могу судить. Ведь это невозможно! Как ты думаешь, Куглер, кто тебя в тот раз выдал

— Не знаю, — удивленно ответил Куглер.

— Луцка, кельнерша. Донесла из ревности.

— Простите, — осмелел Куглер. — Вы забыли сказать, что я застрелил в Чикаго еще и этого мерзавца Тедди

— Где там застрелил, — возразил Бог. — Этот выкарабкался и жив до сих пор. Я знаю, он доносчик, но в остальном, дружище, он добряк и страшно любит детей. Ты только не подумай, что на свете есть хоть один законченный негодяй,

— Почему, собственно, вы... почему ты. Боже, не судишь сам? — спросил Куглер задумчиво.

— Потому что я все знаю. Если бы судьи всё, совершенно всё знали, они бы тоже не могли судить. Тогда бы судьи все понимали, и от этого у них только болело бы сердце. Могу ли я судить тебя? Судьи знают только о твоих злодеяниях, а я знаю о тебе все. Все, Куглер! Вот почему я и не могу тебя судить.

— А почему... эти люди... судят и на небе?

— Потому что человеку необходим человек. Я, как видишь, только свидетель, но наказывать, понимаешь, наказывать должны сами люди... и на небе. Поверь мне, Куглер, это правильно. Люди не заслуживают никакой другой справедливости, кроме человеческой.

Тут вернулись судьи, и председатель Последнего Сената громко произнес:

— За девятикратное преднамеренное убийство, за ограбления, за недозволенное возвращение с места, откуда он был изгнан, за незаконное ношение оружия и за кражу роз — Куглер Фердинанд приговаривается к пожизненному заключению в преисподней. Приговор привести в исполнение немедленно

Итак, следующее дело. Обвиняемый Шахат Франтишек здесь?

### Преступление в крестьянской семье

— Подсудимый, встаньте, — сказал председатель суда. — Вы обвиняетесь в убийстве своего тестя Франтишека Лебеды. В ходе следствия вы признались, что с намерением убить Лебеду трижды ударили его топором по голове. Признаете вы себя виновным?

Изможденный крестьянин вздрогнул и проглотил слюну.

— Нет, — сказал он.

— Но Лебеду убили вы?

— Да.

— Значит, признаете себя виновным?

— Нет.

Председатель обладал ангельским терпением.

— Послушайте, Вондрачек, — сказал он. — Установлено, что однажды вы уже пытались отравить тестя, подсыпав ему в кофе крысиный яд. Это правда?

— Да.

— Из этого следует, что вы уже давно посягали на его жизнь. Вы меня понимаете?

Обвиняемый посопел носом и недоуменно пожал плечами. — Это все из-за того лужка с клевером, — пробормотал он — Он взял да продал лужок, хоть я ему и говорил: «Папаша, не продавайте клевер, я куплю кроликов...»

- Погодите, — прервал его председатель суда. — Чей же был клевер, его или ваш?
- Ну, его, — вяло произнес обвиняемый. — А на что ему клевер-то? Я ему говорил: «Папаша, оставьте мне хоть тот лужок, где у вас люцерна посеяна». А он заладил свое: «Вот умру, все Маржке останется...» Это, стало быть, моя жена. «Тогда, говорит, делай с ним, что хочешь, голодранец».
- Поэтому вы и хотели его отравить?
- Ну да.
- За то, что он вас выругал?
- Нет, за лужок. Он сказал, что его продаст.
- Однако послушайте, — воскликнул председатель, — это ведь был его лужок? Почему же было не продать?
- Обвиняемый Вондрачек укоризненно поглядел на председателя.
- Да ведь у меня-то там, рядом, засеяна полоска картофеля, — объяснил он. — Я ее и покупал с расчетом, чтоб потом стало одно поле. А он знай свое: — Какое мне дело до твоей полоски, я лужок продаю Юдалу".
- Значит, между вами были нелады? — допытывался председатель.
- Ну да, — угрюмо согласился Вондрачек. — Из-за козы.
- Какой козы?
- Он выдоил мою козу. Я ему говорю: «Папаша, не троньте козу, а не то отдайте нам за нее полянку у ручья». А он взял и сдал ту полянку в аренду.
- А деньги куда девал? — спросил один из присяжных.
- Да куда ж их деть? — уныло протянул обвиняемый. — Убрал в сундучок. «Умру, говорит, вам достанется». А сам все не помирает. Ему было, наверно, уж за семьдесят.
- Значит, вы утверждаете, что в неладах был повинен тесть?
- Верно, — ответил Вондрачек нерешительно. — Ничего он нам не давал. Пока, говорит, я жив, я хозяин, — и никаких. Я ему говорю: «Папаша, купите корову, я тогда этот лужок распашу и не надо будет его продавать». А он ладит свое: мол, когда умру, покупай хоть две коровы, а я эту свою полосу продам Юдалу.
- Послушайте, Вондрачек, — строго сказал председатель. — А, может, вы его убили, чтобы добраться до денег в сундучке?
- Эти деньги были отложены на корову, — упрямо твердил Вондрачек. — Мы так и рассчитывали: помрет он, вот мы и купим корову. Какое же хозяйство без коровы, судите сами. Навоза, и то взять негде.
- Обвиняемый! — вмешался прокурор. — Нас интересует не корова, а человеческая жизнь. Почему вы убили своего тестя?
- Из-за лужка.
- Это не ответ.
- Лужок-то он хотел продать...
- Но после его смерти деньги все равно достались бы вам!
- А он не хотел умирать, — недовольно сказал Вондрачек. — Кабы умер по—хорошему... Я ему никогда ничего худого не сделал. Вся деревня скажет, что я с ним, как с родным отцом... Верно, а? — обратился он к залу, где собралась половина деревни.
- В публике прокатился шум.
- Так, — серьезно произнес председатель суда. — И за это вы хотели его отравить?
- Отравить! — пробурчал обвиняемый. — А зачем он вздумал продавать тот клевер? Вам, барин, всякий скажет, что клевер нужен в хозяйстве. Как же без него?
- В зале одобрительно зашумели.
- Обращайтесь ко мне, а не к публике, обвиняемый, — повысил голос председатель суда. — Или я прикажу вывести ваших односельчан из зала. Расскажите подробнее об убийстве.
- Ну... — неуверенно начал Вондрачек. — Дело было в воскресенье. Гляжу — опять он толкует с этим Юдалом. «Папаша, говорю, не вздумайте продать лужок». А он в ответ:



«Тебя не спрошусь, лопух!» Ну, думаю, ждать больше нечего. Пошел я колоть дрова...

— Вот этим топором?

— Да.

— Продолжайте.

— Вечером говорю жене: «Забирай-ка детей да иди к тетке». Она — реветь. «Не реви, говорю, я с ним еще сперва потолкую...» Приходит он в сарай и говорит: «Это мой топор, давай его сюда!» Я ему говорю: «А ты выдоил мою козу». Он хотел отнять у меня топор. Тут я его и рубанул.

— За что же?

— Ну, за тот лужок.

— А почему вы его ударили три раза?

Вондрачек пожал плечами.

— Да уж так пришлось, барин... Наш брат привычный к тяжелой работе.

— А потом что?

— Потом я пошел спать.

— И заснули?

— Нет. Все думал, дорого ли обойдется корова, и что ту полянку я выменяю на полосу у дороги, чтобы было одно поле.

— А совесть вас не беспокоила?

— Нет. Меня беспокоило, что земля у нас вразной. Да еще надо починить коровник, это обойдется не в одну сотню. У тестя-то ведь и телеги не было. Я ему говорил: «Папаша, господь вас прости, разве это хозяйство? Эти два поля прямо просятся одно к другому, надо же иметь сочувствие».

— А у вас самого было сочувствие к старому человеку? — загремел председатель.

— Да ведь он хотел продать лужок Юдалу, — пробормотал обвиняемый.

— Значит, вы его убили из корысти?

— Вот уж неправда! — взволнованно возразил обвиняемый. — Единственно из-за лужка. Кабы мы оба поля соединили...

— Признаете вы себя виновным?

— Нет.

— А убийство старика, по-вашему, не преступление?

— Так я ж и говорю, что это все из-за лужка, — воскликнул Вондрачек, чуть не плача. — Нешто это убийство? Мать честная, это же надо понимать, барин. Тут семейное дело, чужого человека я бы пальцем не тронул... Я никогда ничего не крал... хоть кого спросите в деревне, Вондрачека все знают... А меня забрали, как вора, как жулика... — простонал Вондрачек, задыхаясь от обиды.

— Не как вора, а как отцеубийцу, — хмуро поправил его председатель. — Знаете ли вы, Вондрачек, что за это полагается смертная казнь?

Вондрачек хмыкал и сопел носом.

— Это все из-за лужка... — твердил он упрямо.

Судебное следствие продолжалось: показания свидетелей, выступление прокурора и защитника...

Присяжные удалились совещаться о том, виновен или нет обвиняемый Вондрачек. Председатель суда задумчиво смотрел в окно.

— Скучный процесс, — проворчал член суда. — Прокурор не усердствовал, да и защитник не слишком распространялся... Дело ясное, какие уж тут разговоры!

Председатель суда запыхтел.

— «Дело ясное»... — повторил он и махнул рукой. — Послушайте, коллега, этот человек считает себя таким же невиновным, как вы или я. У меня ощущение, что мне предстоит судить мясника за то, что он зарезал корову, или крота за то, что он роет норы. Во время заседания мне все приходило в голову, что, собственно, это не наше дело. Понимаете ли, это не вопрос права или закона. Фу... — вздохнул он и снял мантию. — Надо немного

отдохнуть от этого. Знаете, я думаю, присяжные его оправдают; хоть это и глупо, а его отпустят, потому что... Я вам вот что скажу. Я сам родом из деревни, и когда подсудимый говорил, что поля просятся друг к другу, я ясно видел две разрозненные полоски земли, и мне казалось, что мы должны были бы судить... по-божески... должны были бы решить судьбу этих двух полей. Знаете, как я поступил бы? Встал бы, снял шапочку и сказал: «Обвиняемый Вондрачек, пролитая кровь вопиет к небу. Во имя божие ты засеешь оба эти поля беленой и плевелом. Да, беленой и плевелом, и до смерти своей будешь глядеть на этот посев ненависти...» Интересно, что сказал бы на этот счет представитель обвинения? Да, коллега, деяния человеческие иногда должен бы судить сам бог. Он мог бы назначить великую и страшную кару... Но судить по воле божией не в наших силах... Что, присяжные уже кончили? — Председатель нехотя встал и надел свою мантию. — Ну, пошли. Введите присяжных!

### Исчезновение актера Бенды

Второго сентября бесследно исчез актер Бенда, маэстро Ян Бенда, как стали называть его, когда он с головокружительной быстротой достиг вершин театральной славы. Собственно говоря, второго сентября ничего не произошло; служанка, тетка Марешова, пришедшая в девять часов утра прибрать квартиру Бенды, нашла ее в обычном беспорядке. Постель была измята, а хозяин отсутствовал. Но так как в этом не было ничего особенного, то служанка навела порядок и отправилась восвояси. Ладно. Но с тех пор Бенда как сквозь землю провалился.

Тетка Марешова не удивлялась и этому. В самом деле, актеры — что цыгане. Уехал, верно, куда-нибудь выступать или кутить. Но десятого сентября Бенда должен был быть в театре, где начинались репетиции «Короля Лира». Когда он не пришел ни на первую, ни на вторую, ни на третью репетицию, в театре забеспокоились и позвонили его другу доктору Гольдбергу — не известно ли ему, что случилось с Бендой?

Доктор Гольдберг был хирург и зарабатывал большие деньги на операциях аппендицита — такая уж у евреев специальность. Это был полный человек в золотых очках с толстыми стеклами, и сердце у него было золотое. Он увлекался искусством, все стены своей квартиры увешал картинами и боготворил актера Бенду, а тот относился к нему с дружеским пренебрежением и милостиво разрешал платить за себя в ресторанах, что, между прочим, было не мелочью! Похожее на трагическую маску лицо Бенды и сияющую физиономию доктора Гольдберга, который ничего, кроме воды, не пил, часто можно было видеть рядом во время сарданапальских кутежей и диких эскапад, которые были оборотной стороной славы великого актера.

Итак, доктору позвонили из театра насчет Бенды. Он ответил, что представления не имеет, где Бенда, но поищет его. Доктор умолчал, что, охваченный растущим беспокойством, он уже неделю разыскивает приятеля во всех кабаках и загородных отелях. Его угнетало предчувствие, что с Бендой случилось что-то недоброе. Насколько ему удалось установить, он, доктор Гольдберг, был, по-видимому, последним, кто видел Бенду. В конце августа они совершили ночной триумфальный поход по пражским кабакам. Но в условленный день Бенда не явился на свидание. Наверное, нездоров, решил доктор Гольдберг и как-то вечером заехал к Бенде. Было это первого сентября. На звонок никто не отозвался, но внутри был слышен шорох. Доктор звонил добрых пять минут. Наконец раздались шаги, и в дверях появился Бенда в халате и такой страшный, что Гольдберг перепугался: осунувшийся, грязный, волосы всклоченные и слипшиеся, борода и усы не бриты по меньшей мере неделю.

— А, Это вы? — неприветливо сказал Бенда. — Зачем пожаловали?

— Что с вами, боже мой?! — изумленно воскликнул доктор.

— Ничего! — проворчал Бенда. — Я никуда не пойду, понятно? Оставьте меня в покое. И захлопнул дверь перед носом у Гольдберга. На следующий день он исчез.

Доктор Гольдберг удрученно глядел сквозь толстые очки. Что-то тут неладно. От привратника дома, где жил Бенда, доктор узнал немного: однажды, часа в три ночи — может быть, как раз второго сентября — перед домом остановился автомобиль. Из него никто не вышел, но послышался звук клаксона, видимо сигнал кому-то в доме. Потом раздались шаги — кто-то вышел и захлопнул за собой парадную дверь. Машина отъехала. Что это был за автомобиль? Откуда привратнику знать! Что он, ходил смотреть, что ли? Кто это без особой надобности вылезает из постели в три часа утра? Но этот автомобиль гудел так, словно людям было невтерпех и они не могли ждать ни минуты.

Тетка Марешова показала, что маэстро всю неделю сидел дома, выходил лишь ночью, не брился да, наверное, и не мылся, судя по виду. Обед и ужин он велел приносить ему домой, хлестал коньяк и валялся на диване, вот, кажется, и все.

Теперь, когда случай с Бендой получил огласку, Гольдберг снова зашел к тетке Марешовой.

— Слушайте, мамаша, — сказал он, — не вспомните ли вы, во что был одет Бенда, когда уходил из дому?

— Ни во что! — сказала тетка Марешова. — Вот это-то мне и не нравится, сударь. Ничего он не надел. Я знаю все его костюмы, и все они до единого висят в гардеробе.

— Неужто он ушел в одном белье? — озадаченно размышлял доктор.

— Какое там белье, — объявила тетка Марешова. — И без ботинок. Неладно здесь дело. Я его белье знаю наперечет, у меня все записано, я ведь всегда носила белье в прачечную. Нынче как раз получила все, что было в стирке, сложила вместе и сосчитала. Гляжу — восемнадцать рубашек, все до одной. Ничего не пропало, все цело до последнего носового платка. Только чемоданчика маленького нет, что он всегда с собой брал. Ежели он по своей воле ушел, то не иначе, бедняжка, как совсем голый, с чемоданчиком в руках...

Лицо доктора Гольдберга приняло озабоченное выражение.

— Мамаша, — спросил он, — когда вы пришли к нему второго сентября, не заметили вы какого-нибудь особенного беспорядка? Не было ли что-нибудь повалено или выломаны двери?...

— Беспорядка? — возразила тетка Марешова. — Беспорядок-то там, конечно, был. Как всегда. Господин Бенда был великий неряха. Но какого-нибудь особенного беспорядка я не заметила... Да, скажите, пожалуйста, куда он мог пойти, ежели на нем и рубашки не было?

Доктор Гольдберг знал об этом не больше, чем она, и в самом мрачном настроении отправился в полицию.

— Ладно, — сказал полицейский чиновник, выслушав Гольдберга. — Мы начнем розыски. Но, судя по тому, что вы рассказываете, если он целую неделю сидел дома, заросший и немытый, валялся на диване, хлестал коньяк, а потом сбежал голый, как дикарь, то — это похоже на...

— Белую горячку! — воскликнул доктор Гольдберг.

— Да, — последовал ответ. — Скажем так: самоубийство в состоянии невменяемости. Я бы этому не удивился.

— Но тогда был бы найден труп, — неуверенно возразил доктор Гольдберг. — И потом: далеко ли он мог уйти голый? И зачем ему нужен был чемоданчик? А автомобиль, который заехал за ним? Нет, это больше похоже на бегство.

— А что, у него были долги? — вдруг спросил чиновник.

— Нет, — поспешно ответил доктор. Хотя Бенда всегда был в долгу, как в шелку, но это его никогда не огорчало.

— Или, например, какая-нибудь личная трагедия... несчастная любовь, или сифилис, или еще что-нибудь, способное потрясти человека?

— Насколько мне известно, ничего, — не без колебания сказал доктор, вспомнив один-два случая, которые, впрочем, едва ли могли иметь отношение к загадочному исчезновению Бенды.

Тем не менее, получив заверения, что «полиция сделает все, что в ее силах», и

возвращаясь домой, доктор припомнил, что ему было известно об этой стороне жизни исчезнувшего приятеля. Сведений оказалось немного:

1. Где — то за границей у Бенды была законная жена, о которой он, разумеется, не заботился.

2. Бенда содержал какую-то девушку, жившую в Голешовице.

3. Бенда имел связь с Гретой, женой крупного фабриканта Корбела. Эта Грета бредила артистической карьерой, и поэтому Корбел финансировал какие-то фильмы, в которых его жена, разумеется, играла главную роль. В общем, было известно, что Бенда — любовник Греты и она к нему ездит, пренебрегая элементарной осторожностью. Но Бенда никогда не распространялся на эту тему. К женщинам он относился то с рыцарским благородством, то с цинизмом, от которого

Гольдберга корбило.

— Нет, — безнадежно махнул рукой доктор, — в личных делах Бенды сам черт не разберется. Что ни говори, а я голову даю на отсечение, здесь какая-то темная история. Впрочем, теперь этим делом займется полиция.

Гольдберг, разумеется, не знал, что предпринимает полиция и каковы ее успехи. Он лишь с возрастающей тревогой ждал известий. Но прошел месяц, а новостей не было, и о Яне Бенде начали уже говорить в прошедшем времени.

Как — то вечером доктор Гольдберг встретил на улице старого актера Лебдушку. Они разговорились, и, конечно, речь зашла о Бенде.

— Ах, какой это был актер! — вспоминал старый Лебдушка. — Я его помню, еще когда ему было двадцать пять лет. Как он играл Освальда, этот мацьчишка! Знаете, студенты-медики ходили к нам в театр посмотреть, как выглядит человек, разбитый параличом. А его король Лир, которого он играл тогда в первый раз! Я даже не знаю, как он играл, потому что все время смотрел на его руки. Они были как у восьмидесятилетнего старика — худые, высохшие, озябшие, жалкие... И посейчас я не понимаю, как он делал это! А ведь и я умею гримироваться. Но того, что мог делать Бенда, не сумеет никто! Только актер может по-настоящему оценить его.

Доктор Гольдберг с грустным удовлетворением слушал этот профессиональный некролог.

— Да, взыскательный был актер, — со вздохом продолжал Лебдушка. — Как он, бывало, гонял театрального портного! «Не буду, кричит, играть короля в таких мещанских кружевах. Дайте другие!» Терпеть не мог бутафорской халтуры. Когда он взялся, помню, за роль Отелло, то обегал все антикварные магазины, нашел старинный перстень той эпохи и не расставался с ним, играя эту роль: «Я, говорит, лучше играю, когда на мне что-то подлинное». Нет, это была не игра, это было перевоплощение! — неуверенно произнес Лебдушка, сомневаясь в правильности выбранных слов. — В антрактах он бывал угрюмый, как сыч, запирался у себя в уборной, чтобы никто не портил ему вдохновения. Он и пил потому, что играл сплошь на нервах, — задумчиво добавил Лебдушка. — Ну, я в кино, — сказал он, прощаясь.

— Я пойду с вами, — предложил Гольдберг, не зная, как убить время.

В кино шел какой-то фильм о морских путешественниках, но доктор Гольдберг почти не смотрел на экран. Чуть ли не со слезами на глазах слушал он болтовню Лебдушки о Бенде.

— Не актер это был, а настоящий дьявол, — рассказывал Лебдушка. — Одной жизни ему было мало, вот в чем дело. Жил он по-свински, доктор, но на сцене это был настоящий король или настоящий бродяга. Так величественно умел он подать знак рукой, словно всю свою жизнь сидел на престоле и повелевал. А ведь он сын бродячего точильщика... Посмотрите-ка на экран: хорош потерпевший кораблекрушение! Живет на необитаемом острове, а у самого ногти подстрижены. Идиот этакий! А борода? Сразу видно, что приклеена. Нет, если бы эту роль играл Бенда, он отрастил бы настоящую бороду, а под ногтями у него была бы настоящая грязь... Что с вами, доктор.

— Извините, — пробормотал доктор Гольдберг, быстро вставая, — я вспомнил об одном пациенте. Спасибо за компанию.

И он торопливо вышел из кино, повторяя про себя «Бенда отпустил бы настоящую бороду. Он так и сделал! Как это мне раньше не пришло в голову!»

— В полицейское управление! — крикнул он, вскакивая в первое попавшееся такси.

Проникнув к дежурному офицеру, Гольдберг стал шумно умолять, чтобы ему во что бы то ни стало, как можно скорее, немедленно, сообщили, не был ли второго сентября или позднее найден где-нибудь — все равно где! — труп неизвестного бродяги. Против всяких ожиданий, дежурный офицер прошел куда-то посмотреть или спросить. Сделал он это скорее от нечего делать, чем из предупредительности или из интереса. В ожидании доктор Гольдберг сидел, обливаясь холодным потом, осененный страшной догадкой.

— Так вот, — сказал, вернувшись, офицер, — утром второго сентября лесничий в Кршивопатском лесу обнаружив труп неизвестного бродяги, лет сорока. Третьего сентября из Лабы, близ Литомержице, извлечен неопознанный труп мужчины, лет тридцати, пробывший в воде не меньше двух недель. Десятого сентября в Немецком Броде обнаружен повесившийся, личность которого не установлена. Самоубийце около шестидесяти лет...

— Есть какие-нибудь подробности о бродяге в лесу? — спросил Гольдберг, затаив дыхание.

— Убийство, — сказал дежурный, пристально глядя на взволнованного доктора — Согласно рапорту полицейского поста, череп покойного разможен тупым орудием. Данные вскрытия: алкоголик, смерть наступила в результате повреждения мозга. Вот фотография, — добавил дежурный с видом знатока. — Здорово его отделали!

На снимке Гольдберг увидел труп, сфотографированный до пояса, одетый в лохмотья, в расстегнутое холщовой рубаше. На месте глаз и лба было сплошное кровавое месиво. Лишь в заросшем колючей щетиной подбородке и полуоткрытых губах заметно было что-то человеческое. Гольдберг дрожал, как в лихорадке. Неужели это Бенда?

— Были какие-нибудь особые приметы! — с трудом спросил он.

Офицер заглянул в бумаги.

— Гм... Рост его сто семьдесят шесть сантиметров, волосы с сединой, гнилые зубы...

Доктор Гольдберг шумно перевел дух.

— Значит, это не он. У Бенды зубы были, как у тигра. Это не он! Прошу извинения, что затруднил вас, но это не может быть он. Исключено...

— Исключено! — твердил он с облегчением, возвращаясь домой. — Может быть, Бенда жив. Может, он сейчас сидит где-нибудь в «Олимпии» или «Черной утке»...

Ночью доктор Гольдберг совершил еще один рейд по Праге. Он обошел все кабаки и злачные места, где когда-то кутил Бенда, заглядывал во все укромные уголки, но Бенды нигде не было. Утром доктор вдруг побледнел, сказал себе, что он идиот, и бросился в гараж. Вскоре он был в управе одного из загородных районов и потребовал, чтобы разбудили начальника. На счастье, оказалось, что тот — пациент Гольдберга: доктор некогда собственноручно вырезал ему аппендикс и вручил на память в баночке со спиртом. Это отнюдь не поверхностное знакомство помогло доктору без задержки получить разрешение на эксгумацию, и уже через два часа он, вместе с недовольным всей этой затеей районным врачом, присутствовал при извлечении из могилы трупа неизвестного бродяги.

— Говорю вам, коллега, — ворчал районный врач, — что им уже интересовалась пражская полиция. Совершенно исключено, чтобы этот опустившийся грязный бродяга мог быть Бендой.

— А вши у него были? — с любопытством осведомился доктор Гольдберг.

— Не знаю, — был сердитый ответ. — Но разве можно опознать его сейчас, коллега! Ведь он месяц пролежал в земле...

Когда могила была вскрыта, Гольдбергу пришлось послать за водкой, иначе нельзя



было уговорить могильщиков вытащить и отнести в покойницкую то невыразимо страшное, зашитое в мешок, что лежало на дне могилы.

— Идите смотрите сами, — бросил районный врач Гольдбергу и остался на улице, закулив крепкую сигару.

Через минуту из покойницкой, шатаясь, вышел смертельно бледный Гольдберг.

— Пойдите посмотрите! — хрипло сказал он и пошел обратно к телу. Указав на то место, которое когда-то было головой, он оттянул пинцетом остатки губ, и оба врача увидели испорченные черные зубы

— Хорошенько смотрите! — сказал Гольдберг, вводя пинцет между зубов и снимая с них черный слой. Открылись два безупречно крепких резца. Больше у Гольдберга не хватило выдержки, и он, схватившись за голову, выбежал из покойницкой.

Вскоре он вернулся, бледный и невероятно подавленный.

— Вот они — эти «гнилые зубы», — сказал он тихо. — Черная смола, которую артисты налепляют себе на зубы, когда играют стариков и бродяг. Этот оборванец был актером, коллега... Великим актером! — добавил он, безнадежно махнув рукой.

В тот же день доктор Гольдберг посетил фабриканта Корбела, крупного мужчину с тяжелым подбородком. — Сударь, — сказал ему доктор Гольдберг, сосредоточенно глядя сквозь толстые стекла очков — Я пришел к вам по делу актера Бенды...

— А! — отозвался фабрикант и заложил руки за спину. — Значит, он нашелся?

— Отчасти. Я полагаю, вам это будет интересно хотя бы потому, что вы хотели ставить фильм с его участием... вернее, финансировали этот фильм.

— Какой фильм? — равнодушно спросил громадный мужчина. — Ничего об этом не знаю.

— Я говорю о том фильме, — упрямо продолжал Гольдберг, — в котором Бенда должен был играть бродягу... а ваша жена — главную женскую роль. Собственно, все это делалось для госпожи Корбеловой, — добавил он невинно.

— А вам до этого нет никакого дела! — проворчал Корбел. — Наверное, Бенда наболтал... Пустые разговоры. Что-то в этом роде, возможно, и предполагалось. Вам Бенда рассказывал, да?

— Нет, ведь вы велели ему молчать. Все держалось в полнейшей тайне. Но дело в том, что Бенда в последнюю неделю своей жизни отращивал бороду и волосы, чтобы выглядеть настоящим бродягой. Он был взыскателен к таким деталям, не правда ли?

— Не знаю, — отрезал хозяин. — Что вы еще хотите сказать?

— Так вот, фильм должны были снимать второго сентября, не так ли? Первая съемка была назначена в Кршивоклатском лесу на рассвете. Бродяга просыпается на опушке в утреннем тумане отряхивается от листьев и игл, прилипших к лохмотьям... Представляю себе, как мастерски Бенда сыграл бы это. Он оделся в самое скверное рваньё, которое лежало у него на чердаке в корзине. Потому-то после исчезновения весь его гардероб и оказался в целости. Удивляюсь, почему никто не обратил на это внимания. Можно было рассчитывать, что он выдержит костюм бродяги в точности, вплоть до веревки вместо пояса. Точность костюмировки — это был его конек.

— Что же дальше? — спросил высокий человек, все больше отклоняясь в тень. — Я, собственно, не понимаю, зачем вы все это рассказываете мне.

— Потому что второго сентября часа в три утра вы заехали за ним на машине, — упрямо продолжал доктор Гольдберг, — наверное, это был не ваш собственный, а наемный автомобиль и наверняка лимузин. Правил, мне думается, ваш брат, он спортсмен и надежный сообщник. Подъехав к дому, вы, как было условлено с Бендой, не поднялись в квартиру, а дали сигнал. Вышел Бенда вернее, грязный и заросший оборванец «Поспешим, — сказали вы ему, — оператор уже должен быть на месте». И вы поехали в Кршивоклатский лес.

— Номер машины вам, по-видимому, неизвестен? — иронически осведомился человек в тени.

— Если бы я его знал, вы бы уже сидели за решеткой, — отдельно сказал доктор

Гольдберг. — На рассвете вы прибыли на место. Там превосходная натура — опушка леса, вековые дубы. Ваш брат, я думаю, остался у машины и стал возиться с мотором, а вы повели Бенду в сторону от дороги. Пройдя шагов четыреста, вы сказали: — «Здесь». — «А где же оператор?» — спросил Бенда. В этот момент вы нанесли ему первый удар.

— Чем? — раздался голос в тени.

— Свинцовым кистенем, — сказал Гольдберг. — Разводной автомобильный ключ был бы слишком легкий для такого черепа. И потом вам надо было обезобразить лицо до неузнаваемости. Добив его, вы вернулись к машине. «Готово?» — спросил ваш брат, но вы, наверное, ничего не ответили, ведь убить человека не так просто.

— Вы с ума сошли, — проговорил человек в тени.

— Нет, я только напоминаю вам, как, вероятно, было дело. Вы хотели устранить Бенду из-за истории с вашей женой. Она начала уж слишком открыто...

— Вы, паршивый еврей, — прорычал человек в кресле, — как вы смеете.

— Я не боюсь вас, — сказал Гольдберг, поправляя очки, чтобы иметь более строгий вид. — У вас нет власти надо мною, несмотря на все ваше богатство. Что вы можете мне сделать? Не захотите у меня оперироваться? Да я бы вам и не советовал этого, откровенно говоря.

Человек в тени тихо засмеялся.

— Слушайте, вы, — сказал он странно веселым тоном, — если бы вы могли доказать хоть десятую долю того, что здесь наболтали, вы бы пришли не ко мне, а в полицию, не правда ли?

— Вот именно, — очень серьезно ответил Гольдберг. — Если бы я мог доказать хотя бы десятую часть, я не был бы сейчас здесь. Боюсь, что все это никогда не будет доказано. Сейчас даже нельзя доказать, что тот сгнивший бродяга — Венда. Потому — то я и пришел к вам.

— Шантажировать? — спросил человек в кресле и протянул руку к звонку.

— Нет, вселять страх. У вас, сударь, не очень чувствительная совесть. Для этого вы слишком богаты. Но сознание, что кто-то еще знает об этом ужасе, знает, что вы и ваш брат — убийцы, что вы убили актера Бенду, сына точильщика, комедианта, вы — два фабриканта, — это сознание навсегда нарушит ваше вельможное равновесие. Пока я жив, вам обоим не будет покоя. Я хотел бы видеть вас на виселице! Но если это невозможно, я буду отравлять вам жизнь. Бенда был нелегким человеком, я-то его знал. Он часто бывал злым, высокомерным, циничным, бесстыдным, всем, чем хотите. Но это был художник. Все ваши миллионы не возместят этой утраты. Со всеми вашими миллионами вы не способны на тот королевский жест. — Доктор Гольдберг в отчаянии всплеснул руками. — Как вы могли решиться? Никогда вам не будет покоя, никогда! Я не позволю забыть это преступление. Я до смерти буду напоминать вам: «Помните Бенду, великого Бенду? Великого артиста Бенду?»

## Покушение на убийство

В тот вечер советник Томса кейфовал и, нацепив радионаушники, с благодушной улыбкой слушал славянские танцы Дворжака. «Вот это музыка!» — удовлетворенно приговаривал он. Вдруг на улице что-то дважды хлопнуло, и из окна на голову советника со звоном посыпались стекла. Томса жил в первом этаже.

Советник поступил так, как поступил бы каждый из нас: он несколько секунд подождал, что будет дальше, потом снял наушники и со строгим видом огляделся: что такое произошло? И только после этого перепугался, увидев, что окно, у которого он сидел, прострелено в двух местах, а дверь напротив расщеплена и в ней засела пуля. Первым побуждением Томсы было с пустыми руками выбежать на улицу и схватить преступника за шиворот. Но когда человек в летах и ему свойственна известная степенность, он обычно пропускает первый импульс и действует уже по второму. Поэтому Томса кинулся к телефону

и вызвал полицейский участок.

— Алло, срочно пошлите кого-нибудь ко мне. На меня только что покушались.

— А где это? — осведомился сонный и апатичный голос.

— У меня дома! — вскипел Томса, словно полиция была в чем-то виновата. — Это же безобразие — ни с того ни с сего стрелять в мирного гражданина, который сидит у себя дома. Необходимо строжайшее расследование! Этого еще не хватало, чтобы...

— Ладно, — прервал его сонный голос. — Пошлем кого-нибудь. Советник сгорал от нетерпения; ему казалось, что этот кто-то тащится целую вечность. А на самом деле уже через двадцать минут к нему явился рассудительный полицейский инспектор и с интересом осмотрел простреленное окно.

— Кто-то выстрелил в окно, сударь, — деловито объявил он.

— Это я и без вас знаю, — рассердился Томса. — Ведь я сидел тут, у самого окна.

— Калибр семь миллиметров, — заметил инспектор, выколупывая ножом пулю из двери. — Похоже, что из армейского револьвера старого образца. Обратите внимание, этот тип должен был влезть на забор. Стой он на тротуаре, пуля пролетела бы выше. Значит, он целился в вас, сударь.

— Это замечательно! — с горечью отозвался Томса. — А я было подумал, что он просто хотел угодить в дверь.

— Кто же это сделал? — осведомился инспектор, не давая сбить себя с толку.

— Извините, я не могу дать вам его адрес, — иронически ответил советник. — Я этого господина не видел и позабыл пригласить его в дом.

— М-да, дело не так-то просто, — невозмутимо сказал инспектор. — Ну, а кого вы подозреваете?

У Томсы уже лопалось терпение.

— Что значит подозреваю! — воскликнул он раздраженно. — Молодой человек, я ведь не видел этого мерзавца. Даже если бы он постоял там, ожидая от меня воздушного поцелуя, в темноте я его все равно не узнал бы. Знай я, кто он такой, стал бы я вас беспокоить, как вы думаете!

— Ну да, — успокоительно отозвался инспектор. — Но, может быть, вы вспомните, кому ваша смерть могла быть выгодна, кто хотел бы вам отомстить? Учтите, это не грабеж. Грабитель не стреляет без крайней необходимости. Может быть, у вас есть враги? Вот об этом вы и скажите, а мы расследуем.

Томса смутился: об этой стороне дела он не подумал.

— Понятия не имею, — неуверенно начал он, мысленным взором окидывая всю свою тихую жизнь чиновника и старого холостяка. — Откуда бы у меня взялись враги? — продолжал он с удивлением. — Честное слово, я ни одного не знаю. Нет, это исключено. — И он покачал головой. — Я ведь ни с кем не встречаюсь, живу замкнуто, никуда не хожу, ни во что не вмешиваюсь... За что мне мстить?

Инспектор пожал плечами.

— Я тем более не знаю, сударь. Но, может быть, к завтрашнему дню вы вспомните? Вы не боитесь оставаться здесь?

— Нет, не боюсь, — сказал Томса и задумался.

«Странное дело, — смущенно твердил он себе, оставшись один — почему да, почему в меня стреляли? Ведь я живу прямо-таки отшельником. Отсижу на службе и иду домой... у меня и знакомых-то нет! Почему же меня хотели застрелить?» — удивлялся он. В душе росла горечь от такой несправедливости. Ему становилось жаль самого себя. «Работаю как вол, — думал он, — даже беру работу на дом, не расточительствую, не знаю никаких радостей, живу, как улитка в раковине, и вдруг, бац! Кому-то вздумалось пристукнуть меня. Боже, откуда у людей такая беспричинная злоба?» Советник был изумлен и подавлен. «Кого я обидел? Почему кто-то так неистово ненавидит меня?»

«Нет, тут, наверное, ошибка, — размышлял он, сидя на кровати с одним ботинком в руке. — Ну, конечно, меня спутали с кем-то. С тем, кому хотели отомстить. Да, это так, —

решил он с облегчением. — За что, за что кто-нибудь может ненавидеть именно меня?»

Ботинок вдруг выпал из руки советника. Не без смущения он вспомнил, как недавно сболтнул страшную глупость: в разговоре со знакомым, неким Роубалом, допустил бестактный намек на его жену. Всему свету известно, что жена изменяет Роубалу и путается с кем попало; да и сам Роубал знает, но не хочет подавать виду. А я, олух этакий, так глупо брякнул об этом!... Советнику вспомнилось, как Роубал с трудом перевел дыхание и стиснул кулаки. «Боже, — ужаснулся Томса, — как я обидел человека! Ведь он безумно любит свою жену. Я, конечно, попытался перевести разговор на другую тему, но как Роубал закусил губу! Вот уж у кого есть причина меня ненавидеть! Конечно, не может быть и речи о том, что в меня стрелял он. Но я бы не удивился, если...»

Томса оторопело уставился в пол. "Или вот, например, мой портной... — вспомнил он с тягостным чувством, — пятнадцать лет он шил на меня, а потом мне сказали, что у него открытая форма туберкулеза. Понятное дело, всякий побоится носить платье, на которое кашлял чахоточный. И я перестал у него шить. А он пришел просить, сижу, мол, без работы, жена болеет, надо отправить детей в деревню... не удостою ли я его вновь своим доверием. О господи, как он был бледен и как болезненно обливается потом! «Господин Колинский, — сказал я ему, — ничего не выйдет, мне нужен портной получше, я был вами недоволен». — «Я буду стараться, господин Томса», — умолял он, потный от испуга и растерянности, и чуть не расплакался. «А я, — вспомнил советник, — я спровадил его, сказав: „Ну, там видно будет“, — хорошо известная беднякам фраза! Портной тоже может меня ненавидеть, — ужаснулся советник, — ведь это страшно: просить кого-нибудь о спасении жизни и получить такой бездушный отказ! Но что мне было делать? Я знаю, он в меня не стрелял, но...»

У советника становилось все тяжелее на душе. Вспомнилось еще кое-что... «Как это было нехорошо, когда я на службе взъялся на нашего курьера. Никак не мог найти один документ, ну, и вызвал этого старика, накричал на него при всех, как на мальчишку. Что, мол, за беспорядок, вы идиот, во всем здесь хаос, надо гнать вас в шею!... А документ потом нашелся у меня в столе! Старик тогда даже не пикнул, только дрожал и моргал глазами...» Советника бросило в жар. «Но ведь не следует извиняться перед подчиненными, даже если немного обидишь их, — успокаивал он себя. — Как, должно быть, подчиненные ненавидят своих начальников. Ладно, я подарю этому старику какой-нибудь старый костюм... Нет, ведь и это его унизит...»

Советник уже не мог лежать в постели, одеяло душило его. Он сел и, обняв колени, уставился в темноту; мучительные воспоминания не покидали его... «Или, например, инцидент с молодым сослуживцем Моравеком; Моравек — образованный человек, пишет стихи. Однажды он плохо составил письмо, и я сказал ему: „Переделайте, коллега!“ И хотел бросить эту бумагу на стол, а она упала на пол, и Моравек нагнулся, покраснев до ушей... Избил бы себя за это! — пробормотал советник. — Я же люблю этого юношу, и так его унижить, пусть даже неумышленно!...»

В памяти Томсы всплыло еще одно лицо: бледная, одутловатая физиономия сослуживца Ванкла. «Бедняга Ванкл, он хотел стать начальником вместо меня. Это дало бы ему на несколько сотен в год больше, у него шестеро детей... Говорят, он мечтает отдать свою старшую дочь учиться пению, а денег не хватает. И вот я обогнал его по службе, потому что он такой тяжелодум и работяга. Жена у него злая, тощая, ожесточенная вечными нехватками. В обед он жует сухую булку...»

Советник тоскливо задумался. «Бедняга Ванкл, ему должно быть обидно, что я, одинокий, получаю больше, чем он. Но разве я виноват? Мне всегда бывает неловко, когда этот человек укоризненно глядит на меня...»

Советник потер вспотевший лоб. «Да, — сказал он себе, — а вот на днях кельнер обсчитал меня на несколько крон. Я вызвал владельца ресторана, и он немедленно уволил этого кельнера. „Вор! — кричал он. — Я позабочусь о том, чтобы никто во всей Праге не взял вас на работу!“ А кельнер не сказал ни слова, повернулся и пошел. Тощие лопатки вздрагивали у него под фракком...»

Советнику не сиделось на постели. Он пересел к радиоприемнику и надел наушники. Но радио молчало, была безмолвная ночь, тихие ночные часы. Томса опустил голову на руки и стал вспоминать людей, встреченных им в жизни, непонятных маленьких людей, с которыми он не находил общего языка и о которых прежде никогда не думал.

Утром, немного бледный и растерянный, зашел он в полицейский участок.

— Ну, что, — спросил инспектор, — вспомнили вы, кто вас может ненавидеть?

Советник покачал головой.

— Не знаю, — нерешительно сказал он. — Таких людей столько, что... — Он безнадежно махнул рукой. — Кто из нас знает; сколько человек он обидел... Сидеть у окна я больше не буду. И, знаете, я пришел попросить вас прекратить это дело...

## Освобожденный

Начальник тюрьмы растроганно высморкался,

— Вам все понятно, Заруба? — спросил начальник тюрьмы, почти торжественно дочитав соответствующий акт министерства юстиции. — Здесь говорится о том, что вас условно освобождают от пожизненного заключения. Вы отсидели двенадцать с половиной лет и за все это время вели себя... гм... одним словом, образцово. Мы дали вам самую лучшую характеристику и... гм... короче, вы можете идти домой, понимаете? Но запомните, Заруба, если вы что-нибудь натворите, досрочное освобождение аннулируется; приговор, вынесенный вам за убийство вашей жены Марии, снова войдет в силу, и вам придется пробыть в заключении всю жизнь. Тогда уже сам господь бог вам не поможет. Так будьте осторожны, Заруба; в следующий раз сидеть вам до самой смерти.

— Мы вас любили, Заруба, но снова увидеть здесь не хотим. Так с богом! В канцелярии вам выплатят причитающиеся деньги. Можете идти.

Заруба, верзила чуть ли не двухметрового роста, переминался с ноги на ногу и что-то бормотал: он был так счастлив, просто до боли, в груди его что-то хрипело, всхлипывания сдавливали горло.

— Ну, ну, — проворчал начальник, — смотрите не расплачьтесь тут! Мы раздобыли для вас кое-какую одежду, а строитель Малек пообещал взять вас на работу. Ах, вы хотите прежде побывать дома? Понимаю, понимаю, на могиле своей жены. Это похвальное намерение. Счастливый путь. Заруба, — сказал поспешно начальник тюрьмы и подал Зарубе руку. — И будьте внимательны, ради бога. Помните, что вы освобождены всего лишь условно.

— Какой славный человек этот Заруба! — сказал начальник тюрьмы, как только за освобожденным закрылась дверь. — Я вам должен сказать, Форманек, среди убийц встречаются очень порядочные люди: в заключении самые трудные растратчики; тем в тюрьме все не по нраву. Жаль мне Зарубу!

Когда Заруба прошел двор Панкрацкой тюрьмы и за ним захлопнулись железные ворота, его охватило чувство страшной неуверенности: он боялся, что первый же попавшийся полицейский задержит его и приведет обратно. Он брел медленно, чтобы кто-нибудь грехом не подумал, будто он сбежал. Заруба вышел на улицу, и у него просто голова пошла кругом, так много было везде народу. Вон бегают дети, два шофера ругаются. Боже, сколько людей, раньше такого не было. Куда же все-таки идти? А, все равно! Машин-то, машин! И столько женщин! А за мной никто не идет? Кажется, нет, но сколько же тут машин! Теперь уже Заруба убежал вниз; к центру Праги, как можно дальше от тюрьмы; пахло чем-то копченым...но сейчас еще не время, сейчас еще нельзя; потом он почувствовал другой запах, более сильный; новостройка. Каменщик Заруба остановился, жадно впитывая запах извести и бревен. Он загляделся на пожилого рабочего, который месил цементный раствор. Зарубе так хотелось заговорить с ним, но у него

Это как — то не получалось; кажется, он совсем потерял голос; в одиночке отвыкаешь говорить. Заруба большими шагами спускался к центру Праги. Господи, сколько разных



строек! Там вон строят из одного бетона, двенадцать лет назад так не строили. Этого не было, не было. В мои времена не было, -думал Заруба. — Но ведь опоры могут рухнуть, они такие тонкие.

— Осторожно, парень! Ты что, ослеп?

Он чуть не попал под машину, а затем — под звенящий трамвай. Проклятье! За двенадцать лет отвыкаешь ходить по улицам. Хотелось бы у кого-нибудь спросить: что это за стройка — такая большая! Хотелось узнать, как попасть на Северо-западный вокзал. Из-за того, что рядом с Зарубой тарахтела машина, груженная железом, и его никто бы все равно не услышал, он попробовал громко произнести: «Скажите, пожалуйста, как пройти на Северо-западный вокзал?» Нет, не получается: совсем, что ли, пропал голос? А может, там, наверху, в тюрьме, ржавеешь и становишься немым? Первые три года иногда еще кое-что спрашиваешь, а потом и спрашивать перестаешь. «Скажите, пожалуйста, как пройти...» Что-то заклокотало у него в горле, но на человеческий голос это похоже не было.

Заруба торопливо пробежал улицы — одну за другой. Он словно опьянел, или, может быть, это ему только снилось: все стало каким-то другим, не то что двенадцать лет назад: крупнее, шумнее, беспокойнее. И народу так много! Зарубе становится даже как-то грустно. Кажется ему, что он где-то на чужбине и с этими людьми ему никогда не договориться. Ах, попасть бы поскорее на вокзал и уехать домой, домой. У брата там домик и дети... «Скажите, пожалуйста, как пройти...» — попытался спросить Заруба, но только беззвучно пошевелил губами. Дома это пройдет, дома он заговорит, только бы добраться до вокзала.

Сзади раздался крик, и кто-то втащил его на тротуар.

— Какого черта ты, парень, не по тротуару идешь? — орет на него шофер.

Зарубе хочется ему ответить, да ничего не получается. Он только откашливается и пускается бежать дальше. Идти по тротуару! Да он для меня слишком узок. Люди, я так спешу, так хочу домой. Пожалуйста, скажите, как пройти на Северо-западный вокзал? Может быть, по той самой оживленной улице, где движется вереница трамваев. Откуда берется столько народу? Ведь здесь целая толпа, и направляется она в одну сторону — наверное, тоже к вокзалу. Потому, видно, так и торопятся, что боятся опоздать на поезд.

Верзила Заруба прибавил ходу, чтобы не отставать. Видите, этим людям тоже не хватает тротуара. Пестрая, шумная толпа уже запрудила всю улицу, а люди все подходят, они просто бегут наперегонки и что-то кричат. И вдруг начали кричать все — протяжно и громко.

У Зарубы, опьяненного шумом, закружилась голова. Боже, как это здорово — столько народу! Там, впереди, запели какой-то марш. Заруба пристраивается к идущим и возбужденно топает. Посмотрите-ка, вокруг него все уже поют. У Зарубы что-то подкатывает к горлу, словно что-то толкает его изнутри, хочет вырваться наружу, — это песня: раз-два, раз-два. Он поет песню без слов, рычит что-то густым басом. Что же это за песня? Да не все ли равно Я еду домой, я еду домой! Долговязый Заруба шагает уже в первом ряду и поет — хотя это и не слова, но все равно — это так прекрасно: раз-два, раз-два. С поднятой рукой трубит Заруба, как слон. Кажется, поет все тело, живот вздрагивает, как барабан. Грудная клетка неистово гудит. А в глотке становится так хорошо, словно он большими глотками пьет вино или плачет. Тысячи людей кричат: «Позор! Позор правительству!» Но Заруба не может понять, что там кричат, и только победоносно трубит: «А-а! А-а!» Размахивая длинной рукой, Заруба идет впереди всех. Кричит и ревет, поет, громко смеется, колотит себя кулаками в грудь и наконец издает крик такой силы, что он взвизгивает над всеми головами, словно знамя. «У-ва, у-ва!» — трубит Заруба во все горло, во всю силу своих легких, от всего сердца, закрывая глаза, как петух, когда кукарекает. «У-ва! А-а! Ура-а!»

Вдруг толпа останавливается и не может двинуться дальше. Ощетинившись, она отступает беспорядочной волной и раздражается пронзительным криком. «У-ва, У-ра!» Заруба закрыл глаза, он весь поглощен звуками этого своего великого освобожденного голоса, который поднимается откуда-то из самой глубины души.

Неожиданно чьи-то руки хватают его, и задыхающийся голос кричит в самое ухо:

— Именем закона вы арестованы!

Заруба открыл глаза: на одной руке у него повис полицейский и хочет вытащить его из группы людей, которые судорожно сопротивляются. Заруба ахнул от ужаса и хотел вырвать руку, которую выкручивал полицейский; он взревел от боли и свободной рукой, будто палицей, стукнул блюстителя закона по голове. Полицейский побагровел и отпустил его, но в этот момент кто-то огрел Зарубу дубинкой по затылку: удар, другой, третий! Две огромные руки завертелись, словно крылья ветряной мельницы. Они лупили по чьим-то головам. Внезапно на его руках повисли два человека в касках, вцепились, словно бульдоги.

Заруба, задыхаясь от бешенства, старается сбросить их, пинает кого-то ногами, бьется, как помешанный, но его толкают и куда-то тащат. Полицейские вывернули ему руки и ведут по пустынной улице: раз-два, раз-два. Заруба теперь идет, как овечка, и мысленно только спрашивает: пожалуйста, скажите, как пройти на Северо-западный вокзал? Ведь мне надо домой.

Два полицейских вталкивают его в участок.

— Ваше имя? — спрашивает злой, ледяной голос. Заруба и рад бы сказать, но только беззвучно шевелит губами.

— Как вас зовут? — орет злой голос.

— Заруба Антонин, — хрипло шепчет верзила.

— Где проживаете?

Заруба беспомощно пожал плечами.

— На Панкраце, — с трудом выдавил он из себя, — в одиночке.

Это не должно было произойти, но произошло: трое законников совещались как вызвать Зарубу: председатель суда, прокурор и адвокат ex offio.

— Пусть Заруба ни в чем не признается, — предложил прокурор.

— Поздно, — проворчал председатель суда. — На допросе он уже признался, что вступил в драку с полицейским. Вот дурень, взял и во всем признался...

— Может, полицейские дадут показания, что не могут с уверенностью сказать. Заруба это был или кто-то другой, — предложил адвокат.

— Слушайте, — запротестовал прокурор, — не хватает еще, чтоб мы учили полицейских врать! Они же прекрасно знают, что это был Заруба. Лично я — за невменяемость. Предложите проверить его душевное состояние, коллеги. Я поддерживу.

— Я, конечно, это предложу, — сказал адвокат, — но что будет, если доктора не признают его умалишенным?

— Я сам с ними поговорю — пообещал председатель суда. — Это, конечно, не дело, но... не хочется мне, чтобы Заруба за такую глупость сидел всю жизнь. Быть бы мне сейчас подальше отсюда! Видит бог, я дал бы ему шесть месяцев, даже не моргнув, но чтобы он провел в тюрьме остаток жизни — это уж мне совсем... не нравится.

— Если мы не сможем установить помешательство, — размышлял прокурор, — будет очень скверно. Поймите же, ради бога, я обязан возбудить дело о нарушении закона; что я еще могу сделать? Если бы этот болван хоть зашел в какой-нибудь трактир! Мы бы запросто установили, что он был пьян.

— Прошу вас, господа, — настаивал председатель, — сделайте как-нибудь, чтобы я мог его освободить. Я старый человек и не хотел бы на себя брать этот... ну, сами знаете что.

— Трудное положение, — вздохнул прокурор. — Ну, посмотрим. Может, выгорит с психиатрами. Так, значит, дело слушается завтра, да?

Однако, слушать дело не пришлось. В ту же ночь Антонин Заруба повесился, очевидно, от страха перед наказанием. Он был очень большого роста и висел как-то странно; казалось, он просто сидит на земле.

— Проклятие! — пробормотал прокурор. — Черт побери, какая глупость! Но мы, во всяком случае, тут ни при чем.

## Преступление на почте

— Три кроны слово, — ответил Филипек, не моргнув глазом

— Вы говорите: Справедливость, — сказал жандармский вахмистр Брейха. — Хотелось бы мне знать, почему ее изображают женщиной с повязкой на глазах и весами в руке, словно она торгует перцем. Я бы представлял Справедливость я образе жандарма. Вы не поверите, сколько дел мы, жандармы, решаем без судей, без весов и без всяких церемоний. Если случай простой, бьем по морде, а более сложный — снимаем ремень: н девяноста случаях из ста — это и есть вся справедливость! Я здесь недавно изобличил двоих в убийстве, сам приговорил их к справедливому наказанию и сам их наказал, никому не обмолвившись об этом ни единым словом. Подождите-ка, сейчас расскажу вам все по порядку.

Так вот, вы, конечно, помните девушку, которая два года тому назад работала у нас на почте: ее еще Геленкой звали. Такая милая, славная девочка и красивая, как на картинке) Да как ее можно было не запомнить! Представьте себе, эта Геленка прошлым летом утопилась; прыгнула в озеро да еще шла почти пятьдесят метров, пока добралась до глубокого места. Только через два дня всплыла. И знаете, почему она утопилась? В тот день к ней из Праги неожиданно прибыла ревизия и обнаружила, что в кассе недостает двух сотен Жалких двух сотен! Болван ревизор ей сказал, что он обязан доложить об этом по начальству и рассматривает недостачу как растрату. В тот вечер, приятель, Геленка со стыда и утопилась

Когда ее вытащили на плотину, мне пришлось около нее стоять до появления комиссии. От ее красоты не осталось и следа. Но я все представлял себе, как она смеется, выглядывая из окошечка на почте; что греха таить, все мы туда из-за нее ходили, не так ли? Любили эту девочку. Будь я проклят, — говорю я себе, — Геленка этих денег не брала, прежде всего потому, что я в это никогда не поверю, и во-вторых, незачем ей было красть: отец ее — мельник, там, по ту сторону озера, а пошла она работать только из женского честолубия, мол, сама себя прокормит. Отца я хорошо знал: он был грамотей, да к тому же — евангелист, а я вам скажу, что евангелисты и сектанты у нас никогда не воруют. Если эти две сотни исчезли, то украл их кто-то другой. Так вот, я этой мертвой девочке там, на плотине, пообещал, что этого так не оставлю. Ну, так вот. После ее смерти прислали к нам на почту одного парня из Праги; звали его Филипек; расторопный такой, острый на язык малый. Стал я к Филипеку на почту захаживать, чтобы кое что выяснить. Знаете, у нас, как и на всех почтах, у окошечка — столик с выдвижным ящиком, а в нем — деньги и марки, У почтового служащего за спиной полки, где лежат всякие тарифные справочники, документы, стоят весы для взвешивания пакетов, посылок и прочего.

— Господин Филипек, — говорю я ему, — посмотрите, пожалуйста, в ваших справочниках, сколько будет стоить телеграмма, ну, скажем, до Буэнос-Айреса?

— А сколько стоит срочная телеграмма в Гонконг? — опять спросил я

— Это уже придется посмотреть, — сказал Филипек. встал и повернулся к полкам. А пока он перелистывал справочник, стоя ко мне спиной, я просунул в окошечко плечо, дотянулся рукой до ящика с деньгами и открыл его: открывался он легко и тихо

— Ну спасибо, мне все уже ясно, — сказал я, — вот так это и могло случиться. В то время, пока Геленка искала что-нибудь в справочнике, кто-то мог стащить две сотни из ящика. Послушайте. Филипек, не могли бы вы мне показать, кто последнее время посылал отсюда какие-нибудь телеграммы или посылки?

Филипек почесал затылок и ответил:

— Господин вахмистр, этого делать я не имею права, ведь как-никак существует тайна переписки; вы, правда, могли бы осмотреть вес «именем закона»; но и тогда я обязан сообщить начальству, что была произведена проверка.

— Подождите, — прервал я его, — я бы не хотел этого делать. Вот если бы вы, Филипек, скуки ради или так... посмотрели по документам, кто в последнее время отправлял что-нибудь такое, из-за чего Геленка должна была повернуться спиной к столу.

— Господин вахмистр, — говорит Филипек, — это не составит труда — телеграммы

есть: но, отправляя заказные письма и пакеты, мы записываем только фамилии адресата, а не отправителя. Я перепишу все фамилии, которые здесь найдутся: это не полагается, но для вас я такой списочек составлю. Только мне кажется, вам это ничего не даст.

Он, конечно, был прав, этот Филипек: принес мне что-то около тридцати фамилий — с сельской почты ведь много телеграмм не отправляют, да еще там были какие-то посылки паренькам, отбывающим военную службу, но все это мне действительно ровным счетом ничего не дало. Знаете, куда бы я ни шел, везде только об этом и думал: мучила меня мысль, что я свое обещание этой мертвой девочке не выполню.

И вот однажды, неделю примерно спустя, иду я опять на почту. Филипек мне улыбается и говорит:

— Господин вахмистр, играйте теперь в кегли один, я укладываюсь. Завтра сюда приезжает девушка с пардубицкой почты.

— Вот как, спрашиваю, — в наказание, что ли, переводят ее из города на сельскую почту?

— Да нет, господин вахмистр, — отвечает Филипек и глядит на меня как-то странно, — эта девушка переводится сюда по собственному желанию.

— Удивительно, — говорю я. — Ох уж эти мне женщины

— Да, — соглашается Филипек и все на меня смотрит, — а самое удивительное в том, что анонимный донос насчет экстренной ревизии тоже был послан из Пардубиц.

Я аж присвистнул и думаю, что посмотрел на Филипека так же странно, как и он на меня. А тут в разговор вмешался почтальон Угер, он как раз раскладывал корреспонденцию:

— А, Пардубице, да этот управляющий из поместья туда чуть ли не каждый день пишет какой-то девице на почте. Наверно, это его любовь, не так ли?

— Послушайте, папаша, — обращается к нему Филипек, — не знаете ли вы, как зовут эту девицу?

— Вроде Юлия Тоуф, Тоуфар...

— Тауферова, — говорит Филипек, — так это же она, та самая, что должна сюда приехать.

— Он, этот Гоудек, то есть управляющий, — продолжает почтарь, — тоже каждый день получает письма из Пардубиц. «Господин управляющий, говорю я ему, — вам опять письмецо от невесты». Он, этот управляющий, всегда встречает меня где-нибудь на середине пути. А сегодня ему и посылочка, но уже из Праги... Посмотрите-ка — ее ведь вернули с отметкой «Адресат неизвестен». Видно, господин Гоудек перепутал адрес. Так я отнесу ее обратно.

— Покажите, — заинтересовался Филипек, — адресовано какому-то Новаку. Прага, Спалена улица. Два кило масла. Штамп от 14 июля.

— Тогда здесь еще работала Геленка, — заметил почтальон.

— Покажи-ка, — говорю я Филипеку и нюхаю ящичек.

— Филипек, а не кажется ли вам странным, что масло пробыло в пути десять дней и не протухло? Папаша, — говорю я, — оставьте-ка посылку здесь и топайте, разносите почту.

Не успел почтальон уйти, как Филипек мне говорит:

— Господин вахмистр, этого делать, правда, не полагается, но долото вот здесь, — и ушел: он, мол, ничего не видит.

Так вот, я этот ящичек вскрыл: в нем было два кило глины. Тут пошел я к Филипеку и говорю:

— Ты, парень, об этом никому ни слова, понял? Я все беру на себя.

Само собой разумеется, собрался я и пошел к этому управляющему Гоудеку в поместье. Он сидел там на бревнах, уставившись в землю.

— Господин управляющий, — говорю я ему, — тут на почте произошла путаница: не вспомните ли вы, по какому адресу дней десять — двенадцать тому назад вы отправляли посылку?

Гоудек, как мне показалось, немного побледнел и говорит:

— Это не имеет значения, я уже и сам не помню кому.

— Господин управляющий, — спрашиваю я его снова, — а какое это было масло?

Тут Гоудек вскочил, теперь уже побелев как мел, и закричал:

— Что это значит? Почему вы ко мне пристааете?

— Господин управляющий, — говорю я. — Вот что, — вы убили Геленку. Вы принесли на почту посылку с вымышленным адресом, и Геленка должна была взвесить ее на весах. Пока она взвешивала, вы наклонились через перегородку и украли из ящика стола двести крон. Из-за этих несчастных двух сотен Геленка утопилась. Вот оно как!

Сударь, этот Гоудек задрожал, как осиновый лист.

— Это ложь, — закричал он, — зачем мне было красть эти деньги?

— Затем, что вы хотели, чтобы вашу невесту Юлию Тауферову перевели на здешнюю почту. Это ваша барышня сообщила в анонимном письме, что у Геленки недостача в кассе. Вы двое загнали Геленку в озеро. Вы двое ее убили. У вас на совести преступление, Гоудек.

Гоудек упал на бревна и закрыл лицо руками; за всю свою жизнь я не видел, чтобы мужчина так плакал.

— Господи! — сетовал он. — И откуда я мог знать, что она утонет! Я только думал, что ее уволят...ведь она же могла не работать. Господин вахмистр, я хотел жениться на Юльче, но тогда один из нас должен был потерять работу... и нам не хватило бы на жизнь. Поэтому я так хотел, чтобы Юльча перешла на здешнюю почту. Пять лет мы ждали этого... Господин вахмистр, мы очень любим друг друга!

Дальше о нем я вам рассказывать не буду; была уже ночь, этот парень стоял передо мной на коленях, а я ревмя ревел, как старая шлюха, из-за Геленки и всего остального.

— Ну, довольно, — сказал я ему наконец. — Я сыт по горло. Давайте-ка сюда эти двести крон. Так. А теперь слушайте: если вы вздумаете предупредить Тауферову Юльчу раньше, чем я приведу все в порядок, я отправлю донесение о том, что деньги украли вы, поняли? А если вы вздумаете застрелиться или сотворить что-нибудь подобное, то я расскажу всем, почему вы это сделали. И кончено.

Всю ту ночь, сударь, я просидел под звездами и судил эту пару; я спрашивал бога, как их следует наказать, и понял всю ту горечь и радость, которая есть в справедливости. Если бы я на них донес, Гоудек получил бы несколько недель условного заключения, и еще трудно было бы доказать его виновность. Гоудек убил эту девушку, но это был не закоренелый убийца. Любое наказание, которое ему могли бы дать, казалось мне и слишком большим, и слишком незначительным. Поэтому я судил их и наказывал сам.

После этой ночи рано утром я пришел на почту. Там у окошечка сидела бледная высокая девушка с колючими глазами.

— Барышня Тауферова, — обратился я к ней, — мне надо отправить заказное письмо. — Подал я ей письмо с адресом. «Управление почт и телеграфа в Праге». Посмотрела она на меня и приклеила на конверт марку.

— Подождите, девушка, остановил я ее, — в этом письме донос на того, кто украл двести крон у вашей предшественницы. Сколько будет стоить porto? [С доставкой (*итал.*) ]

Знаете, эта женщина умела держать себя в руках, и все же при этом известии лицо у нее сделалось серым. Она словно окаменела.

— Три с половиной кроны, — вздохнув, сказала она.

Отсчитал я три с половиной кроны и говорю:

— Вот, пожалуйста, но если бы эти две сотни, — говорю я и кладу на стол украденные банкноты, — если бы эти две сотни нашлись — ведь они могли завалиться куда-нибудь, понимаете, или где-то были заложены — и будет видно, что покойная Геленка денег не воровала, — тогда, девушка, я возьму свое письмо обратно.

Она не сказала ни слова, только, оцепенев, уставилась куда-то своими колючими глазами.

— Через пять минут здесь будет почтальон, барышня. Так как же, забирать мне письмо?



Она быстро кивнула. Я забрал письмо и принялся расхаживать перед почтой. Сударь, такого напряжения я никогда еще не испытывал. Через двадцать минут на улицу выбежал старый почтальон Угер с криком:

— Господин вахмистр, господин вахмистр, представьте себе, нашлись те две сотни, что недоставали Геленке! Эта новая девушка их обнаружила в каком-то справочнике. Вот это находка!

— Папаша, — сказал я ему, — бегите и рассказывайте повсюду, что эти две сотни нашлись. Понимаете, чтобы все знали, что покойная Геленка, слава богу, ничего не украла.

Это было первое, что я сделал. Потом я отправился к старому помещику. Вы его, должно быть, не знаете: граф малость с придурью, но человек очень хороший.

— Ваше сиятельство, — говорю я ему, — не расспрашивайте меня ни о чем, но я пришел к вам по делу, в котором мы, люди, должны быть заодно. Позовите вашего управляющего Гоудека и прикажите ему, чтобы он еще сегодня уехал в ваше имение на Мораве; а если он не захочет, то вы его, мол, немедленно уволите.

Старый граф поднял брови и некоторое время смотрел на меня: мне не пришлось прилагать усилий, чтобы выглядеть очень серьезным.

— Хорошо, — сказал граф, — я вас не буду ни о чем спрашивать, — и приказал позвать Гоудека.

Гоудек пришел и, увидев меня у графа, побледнел и остановился как вкопанный.

— Гоудек, — сказал граф, — велите запрягать. Вы поедете на станцию: сегодня вечером приступите к работе в моем имении у Гулина. Я дам телеграмму, чтобы вас там встретили. Понятно?

— Да, — тихо сказал Гоудек и впился в меня глазами; такие глаза, наверно, бывают у грешника в аду.

— Вы имеете что-нибудь против? — спросил граф.

— Нет, — хрипло ответил Гоудек, не спуская с меня глаз. От этого взгляда мне стало не по себе.

— Так можете идти, — сказал граф, и все было кончено. Некоторое время спустя я увидел, как увозят Гоудека: он сидел в коляске как истукан.

Вот и все. Если вы пойдете на почту, обратите внимание на эту бледную девицу. Она зла, зла на весь мир, и на лице у нее уже появляются злые старческие морщинки. Не знаю, встречается ли она со своим Гоудеком. Наверное, иногда ездит к нему, но возвращается оттуда еще более злой и раздраженной. А я смотрю на нее и твержу про себя: справедливость быть должна.

Я только жандарм, но вот в чем мой опыт убедил меня: есть ли на свете всеведущий и всемогущий бог, этого я не знаю, но если бы он и был — для нас это ничего бы не изменило. Но я вам вот что скажу; некая высшая справедливость быть должна. Непременно! Мы можем только наказывать, но должен быть еще некто, кто бы прощал. Знаете, настоящая, высшая справедливость так же необъяснима и удивительна, как и сама любовь.